



ВИКТОР
ГЮГО

Стихотворения



ВИКТОР ГЮГО

Стихотворения



Перевод с французского

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

Составитель,
автор предисловия и комментариев
С. Зенкин

Оформление А. Акатьева

Г 4804010200—232 Без объявл.
M101(03)-90

ISBN 5—08—000991—8

© С. Зенкин, 1990. Состав, предисловие, комментарии.
© Р. Дубровкин, 1990. Переводы, отмеченные в содержании звездочкой.
© А. Акатьев, 1990. Оформление.

ПОЭЗИЯ ВИКТОРА ГЮГО

Исторически сложилось так, что в нашей стране Виктор Гюго известен главным образом своей прозой — романами «Собор Парижской богоматери», «Отверженные». «Девяносто третий год». Иначе воспринимают его соотечественники: во Франции он уже при жизни стяжал громкую славу прежде всего как поэт. С годами Гюго пришлось несколько потесниться на поэтическом Олимпе, на который поднялись такие выдающиеся творцы, как Шарль Бодлер, Гийом Аполлинер, Поль Элюар; однако лучшие стихи из его богатейшего наследия и поныне живут в числе вершинных достижений лирики XIX века.

Виктор Гюго поэт хотя и не «трудный», но для современного читательского сознания все же как-то не до конца понятный. Соприкасаясь с его лирикой, неизбежно ощущаешь некий барьер, отделяющий ее от привычной нам поэтической культуры; есть в ней нечто такое, что не укладывается в нынешние представления о поэзии. Это «нечто» — *риторичность*. Такое суждение может прозвучать уничтожающим приговором поэту: ведь риторическая поэзия для нас синоним ложной, поддельной поэзии. В истории, однако, риторика и лирика не всегда были непримиримыми врагами, и, не разобравшись в этом, творчество Гюго нельзя ни правильно понять, ни по достоинству оценить.

В нашем обыденном представлении с риторикой связываются витиеватость фраз, холодный блеск рассудочных метафор, изощренность мифологических уподоблений, а в конечном итоге — напыщенность и скучные произведения, хоть и построенные по всем правилам школярской премудрости. На самом деле риторика этим отнюдь не исчерпывается. То была большая и по-своему содержательная

духовная традиция, которая сложилась в литературах Западной Европы, можно считать, в эпоху Возрождения, господствовала в культуре классицизма и не вполне утратила свое значение даже в первой половине XIX века, с победой романтизма.

Риторика — не просто свод технических правил. Прозаика и стихотворца она учила не только писать, но и «читать» окружающий мир, служила своеобразным методом для постижения и художественного истолкования действительности. Риторические тропы, фигуры, мифологические образы, композиционные правила складывались в цельный и связный язык, освященный вековым авторитетом и предназначенный выражать вечный и неизменный нравственный смысл жизни. Подобно тому как в басне (а новоевропейская басня возникла именно в рамках риторической культуры) из любого частного житейского случая выводится обобщенная мораль, так и все многообразие мира последовательно сводится в этом языке к вневременным нравственным категориям и ценностям. Вот почему риторика так любит примеры и параллели из истории и мифологии: в том-то и дело, что история для нее уравнивается с легендой, исторического развития как бы нет, и в жизни испокон веков повторяются одни и те же ситуации, заключающие в себе одно и то же этическое содержание.

Однако в XIX веке господство риторики пошатнулось. В европейской культуре начало формироваться новое, историческое представление о жизни общества: в человеке стали видеть не абстрактную и единообразную человеческую природу, а неповторимую индивидуальность, обусловленную своей национальностью, исторической эпохой, уникальными обстоятельствами своего жизненного бытия. Нравственные ценности требовалось теперь выводить не из абсолютных религиозных постулатов (авторитет религии был серьезно подорван еще в XVIII веке благодаря деятельности великих просветителей), а из конкретной исторической ситуации, в которой оказываются люди. Из-под ног риторики ускользала ее мировоззренческая основа; именно тогда она и стала превращаться в набор пустых формальных правил, восприниматься как препятствие для

подлинных духовных исканий, как обуза для художественного творчества.

В эту переломную эпоху и писал свои стихи Виктор Гюго. Он был последовательно риторичным поэтом — не просто в силу пристрастия к эффектным словесным конструкциям или к цитатам из латинских классиков (они часто стоят в заголовках и эпиграфах его произведений), но прежде всего потому, что в своем художественном мышлении он все время стремится преодолеть конкретность жизненного переживания, прорваться сквозь нее к абстрактным и вневременным понятиям и вопросам. В этом он архаист: ведь романтическая поэтика культивировала именно непосредственность, дополненность чувства. Однако переживания людей, как и все в их жизни, исторически изменчивы, и для Гюго — человека XIX века — они уже не позволяют легко себя преодолеть. У поэтов-классицистов риторика спокойно господствовала — у романтика Гюго она борется, отстаивает свое право на существование в столкновении с новым, сопротивляющимся ей строем чувств. Если прежде поэзия была «естественно» риторической, то у Гюго она сделалась подчеркнуто, порой парадоксально риторической; риторичность служит здесь оригинальным художественным эффектом и тем самым полностью меняет свою природу. Гюго оказался — такое бывает в истории литературы — революционным архаистом, архаистом-реформатором, который не цепляется пассивно за отжившие формы творчества, а обновляет их, дает новую жизнь отмирающему, казалось бы, типу поэзии. Он прожил долгую жизнь (1802—1885), начав свой творческий путь в пору напряженной борьбы классицизма с наступающим романтизмом, а закончив его в годы, когда сам романтизм уже отошел в прошлое и вниманием публики завладели писатели совсем иных поколений (реалисты, натуралисты, декаденты). Но он всегда сохранял верность риторической традиции, о чем бы он ни писал в своей лирике — о политике или о любви, о природе или о религии, об истории или о роли поэта в мире.

Виктор Гюго был свидетелем трех буржуазно-демократических революций, франко-прусской войны, Парижской коммуны, многих

других важнейших политических событий в истории своей страны, и эти события часто становились темой его стихов. Он был, как мы бы сейчас сказали, публицистическим поэтом, а после революции 1848 года и напрямую участвовал в политической жизни. Гюго-политику пристрастие к риторике, в общем, вредило; в его либерально-демократической публицистике за красноречием и патетикой скрывался поверхностный, несостоятельный анализ политических процессов, за что ее и критиковали К. Маркс и П. Лафарг. Зато риторика была «на своем месте» в политической лирике Гюго, где поэт судит о своей современности с точки зрения своего рода рыцарского морального кодекса. Конкретная интерпретация этого кодекса, утверждающего верность долгу и защиту слабых, у Гюго менялась, и существенно, так что некоторые его стихи даже прямо противостоят друг другу. В юности ему казались идеальными рыцарями долга роялисты, сохранившие в годы Великой французской революции верность своему монарху; потом место дворянской чести заняла в его сознании честь национальная, память о героических победах французских войск под командованием революционных генералов, а затем и под водительством Наполеона I (миф о Наполеоне причудливо преломлен, например, в стихотворении «Бунаберды»); и наконец, по мере развития в стране революционных событий, все большее значение стала обретать для поэта *честь народа*, унижаемого социальным гнетом, но в критические моменты своей жизни подобного бушующему океану («Народу»), способного и на мщение, и на самопожертвование.

В одном из самых знаменитых, хрестоматийных стихотворений Гюго «За баррикадами, на улице пустой...» речь идет о трагических днях разгрома Парижской коммуны; сюжет — нравственное противостояние пленного мальчика-коммунара и версальского офицера. Отпуская под честное слово ожидающего смерти пленника (кто же поверит, что он вернется?), офицер думал добиться большего, чем расстрелом, — уничтожить его морально, оставить в живых как труса, малодушной уловкой выклянчившего себе спасение. Но мальчик, верный своему слову, мужественно возвращается к месту казни,

и посрамленный офицер, поняв, что осужденного не сломит даже смерть, вынужден отпустить его вновь, но уже как героя, не уронившего своей чести, а вместе с тем и чести того дела, за которое сражался.

Гюго в целом отрицательно относился к Коммуне, видя в ней лишь вспышку слепой братоубийственной злобы, однако он твердо и по тем временам смело выступал за амнистию коммунаров, против развязанного версальцами белого террора. В стихотворении «За баррикадами, на улице пустой...» он идет еще дальше в своих демократических симпатиях, показывая мальчика-коммунара не жертвой слепых страстей, а подлинным героем, изображая его не с жалостью, но с восхищением. Вместе с тем стихотворение показательное и для поэтического мышления Гюго. Обращение мальчика к офицеру мотивировано как-то нарочито небрежно, бегло: в целях психологической убедительности эту мотивировку (мальчик хотел перед казнью отнестись домой часы), наверное, следовало бы разработать подробнее. В том-то, однако, и дело, что Гюго, даже излагая реальное происшествие — оно сообщается и одним из историков Коммуны, — заботится прежде всего не о жизненной достоверности. В поступке парижского мальчика он видит наглядный образец самоотверженной верности слову, сопоставимый с классическими примерами мужества и героизма. Таким сопоставлениям (в русском переводе они, правда, сильно сглажены) как раз и посвящена вторая часть текста, где говорится о доблестях легендарных героев Древней Греции. Нынешнему читателю вторая часть может показаться ненужным довеском к драматическому рассказу о маленьком коммунаре, но, отвлекаясь от нее, мы не поймем логику риторической поэзии Гюго: реальный случай из жизни интересен поэту именно тем, что обнаруживает в себе вечное, вневременное нравственное содержание. Эпизод из современной истории на наших глазах превращается в легенду; поэт, наперекор меркантильному XIX веку (а о зловеющей политической роли буржуазного прагматизма и конформизма выразительно сказано, например, в стихотворении «Опора империй»), ищет в этом веке героическое начало, проявление нравственного абсолюта.

Риторика по своему происхождению есть искусство публичной речи, и гражданские чувства выражаются на ее языке легче, чем чувства интимные. Понятно поэтому, что тема любви дается Виктору Гюго, пожалуй, труднее, чем кому-либо другому из романтиков. Значительная часть его любовной лирики звучит ныне как гладкие, но сугубо условные мадригалы, лишенные неповторимой индивидуальности переживания. Большого успеха поэт добивался тогда, когда писал о любви отстраненно, обращаясь, например, к любви *ушедшей*, живущей лишь в воспоминаниях; таково, в частности, стихотворение «О письма юности!..» или знаменитая «Грусть Олимпио». Другой способ отделить себя от любовного чувства, которому посвящены стихи, — рассказывать о *чужой* любви, подчеркивая эту дистанцию деталями исторического или национального колорита. Как известно, принцип местного колорита был одним из программных лозунгов романтизма, и Гюго мастерски использовал его в стихах о любви: в балладе «Невеста литаврщика» перед нами средневековая Бретань, в «Гитаре» — живописно-экзотичная Испания, в «Прощании аравитянки» — Ближний Восток... В качестве местного колорита может служить даже легкая протонародная окраска стихотворного рассказа, как во многих вещах из книги «Песни улиц и лесов» (см., например, «Когда все вишни мы доели...»).

В некоторых стихотворениях Гюго смело соединяет любовную лирику с гражданской. Он может, например (в посмертно опубликованном фрагменте «Люблю твой светлый взор и мужественный вид...»), вполне серьезно и поэтично объясниться в любви... аллегорической фигуре. Самый демократический из политических принципов — Равенство — олицетворен здесь в виде юной загорелой крестьянки, затмевающей в глазах поэта и «гордую царицу» Свободу, и даже «нежного ангела» — Братство. Нам привычно считать аллегориями сухой и абстрактной риторической фигурой, отторгающей от себя любое живое чувство; а лирическая миниатюра Гюго мало того что построена на аллегориях — она еще и должна вызывать у классически образованного читателя ассоциацию с греческим мифом о пастухе Парисе, которому пришлось выбирать кра-

сивейшую из трех богинь¹. Стихотворение, таким образом, вдвойне риторично — а между тем чувство поэта искренне, его интонация изящна и непринужденна, а его демократизм обретает полнокровное образное воплощение.

Наиболее естественно интимность и гражданственность сочетаются у Гюго в стихах, выражающих любовь к детям. Здесь происходит встреча умудренного годами поэта с юным существом, у которого еще все впереди, и поэт договаривает о жизни то, чего еще не знает или не понимает дитя; бесхитростное умиление, которое взрослый ощущает по отношению к ребенку, наполняется всем богатством чувств и мыслей поэта о мире. Оттого образы детей у Гюго так значительны и непохожи друг на друга: в каждом из них заложены глубокие, недетские проблемы. Среди персонажей поэта — одаренный мальчик, которому, быть может, суждено стать гением («*Tentanda via est*»); дети народа, угнетенные нищетой («Встреча») и гибнущие от пуль контрреволюционных карателей («Воспоминание о ночи 4 декабря»); школьники, чьи занятия наводят поэта на философские размышления о великой «книге» природы («Вот дети стайкой белокурой...»). Здесь, наконец, и мальчик-герой, собрат знаменитого Гавроша, из уже упомянутого стихотворения «За баррикадами, на улице пустой...».

В старости Гюго посвятил специальный цикл стихов своим маленьким внукам («Искусство быть делом»), и в каждом из этих произведений личные, домашние впечатления и переживания укрупняются в масштабе, сопрягаются поэтом с большими проблемами общественного и природного бытия. Он мечтает, чтобы его внуки были достойны подвигов солдат Революции; он с добродушным лукав-

¹ По-французски все три слова «свобода», «равенство» и «братство» — женского рода, поэтому они естественно воплощаются у Гюго в фигурах трех красавиц. По-русски такое олицетворение более затруднительно, и потому переводчик перестроил стихотворение, сделав его главной героиней Свободу — единственную из составных частей республиканского девиза, обозначаемую словом женского рода.

вом объясняет им рисунки на китайской вазе («Разбитая ваза»), преподавая детям начатки своего рода политической грамоты (вот тигр в логове, филин в дупле, царь во дворце, черт в преисподней — у, какие они гадкие!). И даже стихотворение «Открытые окна», которое построено как импрессионистское изложение разрозненных ощущений дремлющего человека и в котором маленькие Жорж и Жанна занимают сравнительно мало места, — тоже заканчивается укрупняющим, расширяющим горизонт образом бескрайней и свободной морской стихии. Так интимно-личная лирика естественно соприкасается с поэтическими размышлениями о природе.

Как и другие романтики, Гюго был наделен способностью остро, живо ощущать природу; однако он и тут оставался приверженцем риторической традиции и соотносил с нею свой романтический строй восприятий. В природе его привлекает не столько прекрасное, сколько возвышенное — то, что вызывает восторг своим величием и заставляет думать о бесконечном нравственном совершенстве. Неизвестно, знал ли он слова Канта, сказавшего, что на свете две вещи достойны восхищения — звездное небо над нами и моральный закон внутри нас, — но этот афоризм был бы наверняка близок душе Гюго. В лучших его стихах природа оказывает облагораживающее воздействие на человеческую душу картиной своего величия, и не случайно она так часто предстает у Гюго в виде беспредельных просторов моря или небес:

Душа пред далью вод, не скованных границей,
Расправив два крыла, взлетает гордой птицей.

(«К Герцегу»)

Даже те образы природы, в которых, казалось бы, нет ничего безмерного, смело переосмысливаются поэтом, начинают нести идею возвышенного. В стихотворении «Ночь в Брюсселе» Гюго подробно рассказывает о нападении на его дом в 1871 году, когда он чуть не подвергся физической расправе после своего выступления в защиту

преследуемых парижских коммунаров; протокольно сухой отчет вдруг заканчивается неожиданной строкой: «...И пенне соловья мне слышалось вдали». Это своего рода вызов, но вызов не только тем, кто пытался разгромить дом поэта и от кого поэт презрительно и демонстративно отворачивается прочь. Это одновременно и вызов поэтической (риторической) традиции. Образ соловья, на протяжении веков обозначавший в европейской поэзии утонченное изящество и любовное томление, перетолкован тут в совершенно ином смысле, он символизирует отрешенность и нравственную стойкость человека перед лицом захлестывающей мир вражды и ненависти. Скромная певчая птичка играет здесь роль «звездного неба» — величественной природы, утверждающей в душе тот «моральный закон», которому старается следовать, невзирая на опасность, лирический герой стихотворения.

Нередко, однако, в глазах Гюго «звездное небо» и «моральный закон» оказываются трагически расторгнутыми. В стихотворении «Что слышится в горах» поэт, поднявшийся на вершину (символический мотив духовного возвышения), поражен несоответствием двух доносящихся до него снизу голосов:

И я постичь хотел, зачем творец вселенной
Так нераздельно слил, отняв у нас покой,
Природы вечный гимн и вопль души людской.

Гармонии природного бытия противостоит кричащая несправедливость социальной действительности, окружающей человека. Еще резче такой разрыв выражен в стихотворении, парадоксально озаглавленном одним лишь вопросительным знаком — «?». В этом знаке словно сконцентрировано недоумение поэта: как же так, неужели с точки зрения бесконечной Вселенной переполненная страданиями и несчастьями Земля — лишь сияющее «светило в небесах»? При всем своем великолепии природа равнодушна к человеку — равнодушна даже в своей благодатности, словно корова из одноименного стихотворения, к вымени которой жадно припали

чумаые крестьянские ребятаишки (образ шокирующе низкий для философской лирики, но в том-то и дело, что это не просто «картинка с натуры», это аллегория, где даже грязь приподнята до высокого смысла). В своей стихийной, ничем не ограниченной жизни природа стирает с лица земли память о жизни и страстях человека («Грусть Олимпио»), подчас грозит ему и физической гибелью («Ночью, когда был слышен шум невидимого моря», «Осеано пох»); даже в ее умиротворенности иногда есть что-то зловещее. Окрашенное восточной экзотикой стихотворение «Лунный свет» начинается и заканчивается картиной ровного и «дружелюбного» сияния небес: «Луна на глади вод сплетает кружева», — но при этом нежном свете на земле творятся страшные дела: в тихо плещущем море топят зашитых в мешки пленниц из султанского гарема... Герои стихотворения «Кузнецы» сохраняют «с природой лад» независимо от того, что они выковывают — мирное орало или смертоносные мечи. Природа не ведает добра и зла, ускользает от этического истолкования, и потому для поэзии Гюго она составляет непостижимую и беспокоящую загадку.

В поисках разгадки поэт обращается к религии. Ему мало ощущать одушевленность природы, чувствовать в ней «скопище чудовищ небывалых» («Случалось ли в лесу бродить вам одному...») — ведь эти невидимые существа могут оказаться и злобными духами («Джинны»). Миру нужно, по мысли Гюго, объединяющее нравственное начало, верховное существо, воплощающее в себе добро, — то есть бог.

Но в боге Гюго видит отнюдь не просто предмет благоговейного поклонения. Искренне верующий человек, он тем не менее резко расходился с официальной доктриной католической церкви — расходился до такой степени, что высокопоставленные церковники (с которыми он враждовал из-за поддержки Ватиканом реакционной империи Наполеона III) даже обвиняли его вообще в безбожии. На самом деле атеистом Гюго, конечно, не был, но вот еретиком — вне всяких сомнений. Так, в маленьком стихотворении «Жанна вступает в мир» нарисован, казалось бы, достаточно традиционный, едва ли

даже не славный образ бога-дедушки (так и хочется сказать — «боженьки»), умиленно вслушивающегося в лепет новорожденного младенца. Но, если вдуматься, образ этот кощунственный: ведь маленькая Жанна — родная внучка самого Виктора Гюго, то есть поэт фактически себя изображает в виде небесного творца, без всякого почтения встает с ним на одну доску. Перед лицом всевышнего поэт ведет себя взыскательно, иногда даже агрессивно: он не позволяет богу застыть в благой отрешенности от мира, страстно вопрошает его, указывает ему на беды и несправедливости земной жизни, добивается ответа на свои вопросы о тайнах бытия. В стихотворении «Ibo» он готов сам наперекор всем преградам ворваться на небеса и, подобно Прометею, похитить ревниво оберегаемую богом истину. Не люди для бога, а бог для людей — в таком своем отношении к религии Гюго сближается не столько с церковной догматикой, сколько с социальными утопиями своего нека, авторы которых тоже часто мечтали обновить христианство, наполнить его духом демократизма и гуманности.

Не проявляет он почтения к догме и в своих произведениях на библейские сюжеты. Его подход и здесь риторичен: поэт с большим драматизмом излагает эпизоды из священного писания, но дает им новое аллегорическое значение, иногда чуть ли не враждебное духу Библии. Например, он излагает предание о взятии Иерихона, стены которого по воле бога рухнули от звука боевых труб, но первая же строка стихотворения полностью меняет смысл легенды: «Гремите ночь и день, о трубы мысли гневной!» Не вера, а мысль, точнее, вера в могущество свободной человеческой мысли сокрушит, как утверждает поэт, твердыни мракобесия и тирании. В другом стихотворении, рассказывая о том, как взгляд божьего ока неотступно преследует и мучит злодея Каина, Гюго красноречиво озаглавливает этот рассказ «Совесть», переводя его смысл из религиозно-мистического плана в нравственно-аллегорический.

Один из поэтических шедевров Гюго — стихотворение «Спящий Вооз», где разработан сюжет о браке праведного старца Вооза с бедной вдовой Руфью. Здесь нет моральной аллегории, но узко религи-

озный смысл эпизода и здесь не остается самодовлеющим — он растворяется в великолепной картине одухотворенной природы, которая торжествует совершающееся на земле событие:

И ночь была — как ночь таинственного брака;
Летящих ангелов в ней узнавался след:
Казалось иногда — голубоватый свет,
Похожий на крыло, выскальзывал из мрака.

Сверкали искры звезд, а полумесяц нежный
И тонкий пламенел на пажити безбрежной.
И, в неподвижности бессонной замерев,

Моавитянка Руфь об этом вечном диве
На миг задумалась: какой небесный жнец
Работал здесь, устал и бросил под конец
Блестящий этот серп на этой звездной ниве?

В глазах простой женщины, героини стихотворения, грозный и мрачный ветхозаветный бог предстает в наивном и поэтическом облике небесного жнеца, оставившего в поле свой сияющий серп после трудового дня. В этом образе лишний раз проявляются черты художественного мышления Гюго-романтика — и живое чувство природы, и стремление проникнуться народным восприятием мира.

В том же стихотворении с большим мастерством организовано художественное время. Изображенная поэтом сцена одновременно статична и динамична. Вооз спит, он еще не проснулся и не увидел свою будущую супругу, прилегшую у его ног на сельском гумне; но в тот же самый миг он во сне уже видит далекие последствия этого брака, видит своих будущих потомков — царя Давида и Иисуса Христа. Так неподвижная, казалось бы, сцена получает грандиозный временной разворот, наполняясь острым переживанием хода всемирной истории.

Разумеется, переживание это имеет причудливую, мистическую

форму. Выше уже было сказано, что в рамках риторического мышления история вообще закономерно претворяется в легенду; и отнюдь не случайно, что цикл историко-эпических поэм Гюго, к которым относится и «Спящий Вооз», озаглавлен автором «Легенда веков». Важно, однако, что для Гюго такая легендарная история все же движется, развивается по своим неумолимым законам, пусть в основе их и не сцепление и взаимодействие реальных событий, а абстрактно понятая извечная борьба этических начал — добра и зла, благородства и подлости. В своем ощущении неуклонного хода истории Гюго был подлинным романтиком, сохранив его с молодых лет, когда знаменем французского романтизма был культ средневековой старины, до поздних произведений с их попытками грандиозных историко-философских обобщений. История в представлении поэта катастрофична, она безжалостно уничтожает целые миры («Во мраке»), однако сквозь все потрясения проступает ее высший смысл — осуществление справедливости.

Гюго верил в прогресс. Это понятие, возникшее в философии Просвещения, было в дальнейшем, в XIX веке, сильно опошлено идеологами победившей буржуазии: под прогрессом стали понимать простое совершенствование технических орудий цивилизации, приращение материальных богатств (оставляя в стороне вопрос о том, как эти богатства используются, кому принадлежат). Иначе мыслит Гюго — для него суть прогресса в духовном развитии общества, во все большем утверждении гуманности, достоинства человека:

Моря переплывая, киньте
Былое в пену; фитилем
В фонарь пеньку веревки вдвиньте
От виселицы, сданной в лом.
О человек, иди к вершине,
Грозой всех чудищ стань отныне,
Стань новым Аполлоном ты...

(«Прогресс»)

Человечество видится поэту «культурным героем» древних мифов, богатырем, который истребляет мрачных чудищ (ср. фрагмент «Смотрело чудище, кося тигринным глазом...»), переделывает мир для блага людей и тем уподобляется божеству. При всей своей риторической абстрактности это взгляд настоящего, убежденного гуманиста.

Образ «культурного героя» непосредственно воплощается для Гюго в фигуре Поэта, то есть человека-творца вообще, будь то изобретатель или мореплаватель, мыслитель или музыкант (но не царь и не завоеватель!). Такому герою дано вершить грандиозные дела: он держит на своих плечах землю («Однажды Атласу, завистливоревнивым...»), он отражает в себе все мироздание, концентрирует его в своей душе и голосе; в стихотворении «Поэ» речь идет, как мы видели, о подвиге Прометея — похищении с неба высшей истины. Гений-творец полон могущества и величия:

«...Я был горой высокой
И небо затмевал в дни древности седой.
Оковы сна сорвав с души своей слепой,
По лестнице существ я на ступень поднялся
И превратился в дуб. Народ мне поклонялся,
И шелестом глухим я тишину будил.
Потом в песках пустынь я долго львом бродил,
И мне внимала ночь, и мне внимали звери.
Теперь я — человек, я — Данте Алигьери.
(*Надпись на томе «Божественной комедии» Данте»*)

Чтобы осенить струнами своей лиры людскую жизнь, чтобы придать ей красоту и благородство, Поэт должен быть, утверждает Гюго, не просто творцом, но и неустанным воителем, героическим подвижником, подобным древним пророкам. Метафора «поэт — пророк» была для Гюго одной из важнейших. Он отвергал распространенную среди поздних романтиков доктрину «искусства для искусства», противопоставляя ей идею «искусства для прогресса» —

искусства, которое активно участвует в общественной борьбе, особенно в критические моменты истории («Ваш удел — вдохновенье, собратья-поэты...»).

Творя свой миф о Поэте-пророке, Гюго, разумеется, следовал в русле романтической идеологии, для которой вообще характерно возвышение исключительной, героической личности. У него, однако, почти не встречается типичный для многих романтиков мотив трагического одиночества, отверженности поэта в обществе, не желающем прислушиваться к вешему гласу его лиры. Гюго оптимистичен; традиция риторической словесности помогает ему верить, что принципы нравственности даны человечеству свыше и что голос их вдохновенного толкователя не может не быть услышан. Эта вера питает собой благородный гражданский пафос, пророчески-учительную тональность лирики Гюго, однако та же самая безоглядная вера заставляет его не так уж редко впадать в выспренность, в ложную патетику, оторванную от жизненных реальностей.

Если задаться вопросом, что самое поэтичное в лирике Гюго, то окажется, быть может, что это личность самого поэта, вернее, его поэтическая маска. В своих стихах Гюго предстает своего рода новым Дон Кихотом, который, сопротивляясь окружающей его буржуазной пошлости, героически хранит верность высоким идеалам, строит все свое творчество и самую жизнь «под знаком вечности». Созданию такого образа автора служит у него и глубоко усвоенная риторическая традиция, и противоречиво уживающееся с нею романтическое новаторство. Не следует, конечно, прямо отождествлять этот авторский образ с реальным жизненным обликом Виктора Гюго. В жизни всегда все сложнее, чем в стихах, даже в стихах большого поэта; в действительности Гюго был и практичнее, и прозаичнее, даже буржуазнее, чем он кажется в своем творчестве. Однако в культуре, в памяти потомков человек остается не только таким, каким он был, но и таким, каким он хотел бы быть, — особенно если он наделен мощным талантом, позволившим ему художественно выразить свое воображаемое «я». То поэтическое «я», которое заключено в стихах Гюго, не может не поразить цельностью и благородством.

Лирике Виктора Гюго трудно найти соответствие в русской литературной традиции. Последним всецело риторическим поэтом в нашей словесности (если, разумеется, говорить о талантах первого ряда) был, вероятно, Державин, но он был человеком другой культурной эпохи, его стихи принадлежат к классической риторической поэзии, еще не пережившей кризис при столкновении с эстетикой романтизма. В позднейшей русской поэзии некоторые черты творческой индивидуальности Гюго можно встретить лишь разрозненно у разных, в разной степени одаренных авторов. Так, по склонности к эффектной речи, по патетической, несколько взвинченной поэтической интонации ближе всех к Виктору Гюго окажется, по-видимому, Владимир Бенедиктов (он, кстати, стал и одним из первых русских переводчиков его лирики), по напряженно-философскому, отчасти религиозному переживанию природы — Федор Тютчев, по тяге к экзотике и мифологии, по обширности и неравноценности творческого наследия — Валерий Брюсов. Если же взять такие черты лирики Гюго, как публичистичность в сочетании с искренней, хотя порой и не свободной от сентиментальности любовью к простому народу, то в поисках аналогий придется, наверное, обратиться уже к нашей современности, к творчеству Евгения Евтушенко... Поистине уникальной, не имеющей аналогов остается, однако, роль Гюго как реформатора риторической поэзии, сумевшего сделать эту обветшавшую и, казалось, исчерпавшую себя традицию источником живого и новаторского творчества. Из-за этой уникальности лирики Гюго осложняется задача как ее перевода, так и ее читательского восприятия. Эти стихи нелегко сопоставить с чем-либо уже знакомым, приходится делать как бы поправку на специфичность того строя мышления, который в них сказался. Но если читатель делает такую поправку, его усилия не пропадут даром: ему откроется богатый и своеобразный художественный мир одного из крупнейших поэтов Франции, где можно найти, по сути, все те вопросы, которыми жила литература европейского романтизма.

С. Зенкин

Оды и баллады 1826



Ferreus vox
Vergilius

Железный голос
Вергилий¹

I

В судьбе племен людских, в их непрестанной смене
Есть рифы тайные, как в бездне темных вод.
Тот безнадежно слеп, кто в беге поколений
Лишь бури разглядел да воли круговорот.

Над бурями царит могучее дыханье,
Во мраке грозовом небесный луч горит.
И в кликах праздничных и в смертном содроганье
Таинственная речь не тщетно говорит.

И равные века, что братья исполним,
Раваличны участью, но в замыслах близки.
По разному пути идут к мете единой,
И пламенем одним горят их маяки.

II

О муза! Нет времени, нет в будущем предела,
Куда б она очей своих не поднимала.
И столько дней прошло, столетий пролетело, —
Лишь зыбь мгновенная по вечности прошла.

¹ Звездочки отсылают к комментариям в конце книги. — Ред.



Так знайте, палачи, — вы, жертвы, знайте твердо,
Повсюду пронесет она бессмертный свет —
В глубины мрачных бездн, к снегам вершины гордой,
Воздвигнет храм в краю, где и гробницы нет.

И пальмы отдаст героям в униженье,
И нарушает строй победных колесниц,
И грезит, и в ее младом воображеньи
Горят империи, поверженные ниц.

К развалинам дворцов, к разрушенным соборам,
Чтоб услышать ее, сберутся времена.
И словно пленника, покрытого повором,
Влечет прошедшее к грядущему она.

Так, собирая след крушений в океане,
Следит во всех морях упорного пловца
И видит все зараз на дальнем расстоянии —
Могила первую и колыбель конца.

НЕВЕСТА ЛИТАВРИЦИКА

Прекрасна смерть, коль умереть любя.
Деспорт, Сонет*

«Созвал ополченье Бретани
Наш герцог, ее властелин.
От Нанта до самой Мортани
Собрал он на подвиги брани
Всех воннов гор и долин.

«Пошли и бароны седые
В доспехах тяжелых своих,
И рыцари все молодые,
Пошли и солдаты простые,
А с ними — мой милый жених.

«Высокий, в колете багряном,
В плаще из парчи золотой,
Ни в чем не уступит дворянам
И кажется всем капитаном*,
Хоть он и литавричик простой.

«С тех пор я объята тревогой,
Святую Бригитту молю:
— Спаси его! Будь нам подмогой!
Он встретит опасностей много,
А я... я его так люблю!

«Отец! — я сказала аббату, —
Молитесь за наши полки!
Примите мой дар небогатый,
По свечке поставьте у статуй
Святого Петра и Луки.

«Обет я дала: — О Мадонна,
Коль жизнь ты ему сохранишь,
Коль будешь к нему благосклонна,
Схожу в монастырь отдаленный,
Все сделаю, что повелишь!

«Не мог он, хоть время бежало,
Подарок иль весть мне послать:
Нет слуг и пажей у вассала;
Ведь сам он — слуга феодала,
Чью волю привык исполнять...

«Но весть по Бретани несется
Про герцога с войском его,
И сердце так радостно бьется:
Сегодня любимый вернется!
Сегодня у нас торжество!

«Победное старое знамя
Вернулось к селеньям родным...
Идите глядеть вместе с нами,
Как шествует герцог с полками!
Жених мой влюбленный — с ним.

«Наверное, он восседает
На рослом коне, что хранит,
Султаном из перьев кивает,
И так горделиво ступает,
И огненным глазом косит...

«Подружки, вы медлите что-то;
Вдруг мимо проследует он!
Спешите скорей за ворота,
Ведь всем вам послушать охота
Литавр ослепительных звон.

«Он — с шарфом, который под нивой
Я вышила шелком сама,
И в каске он с конскою гривой,
Веселый, кудрявый, красивый...
Ах, я от него без ума!

«Цыганка мне, правда, сказала, —
Накличет колдунья беду! —
Что пышный кортеж феодала
Напрасно я так поджидала
И в нем жениха не найду.

«Потом, показан мне рукою
На склеп, где почует она,
Шепнула с усмешкою злою:
— Такая же ниче, не скрою,
Обитель тебе суждена!

Прогнать эти мысли смогу ли?
Уже барабаны гремят,
Все двери уже распахнули,
И дамы к окошкам прильнули,
Знамена победно шумят.

«Идут впереди эскадроны,
За ними — копейщиков полк;
Затем выступают бароны:
На мантиях — львы и короны,
И бархат алеет, и шелк.

«Вот в ризах блестящих прелаты,
Герольды на белых конях,
В стальные закованы латы,
Где лев нарисован крылатый,
Внушавший противникам страх.

«В кольчугах, в плащах своих белых
Храмовники* гордые тут.

А далее — луки и стрелы:
Швейцарцы, отважны и смелы,
В кафтанах из кожи идут.

«Верхом, в окружении свиты,
Сам герцог, любимец солдат.
Вот рыцарей ряд родовитых,
Штандарты их лавром увиты...
А вот и литавры звенят!»

Любимого взором искала
Невеста... Но скоро в пыли
Все скрылось... Она застонала
И мертвою наземь упала —
Литаврички мимо прошли...

ТУРНИР КОРОЛЯ ИОАННА

Поломано было более шести-
сот копий; бились и пешие и конные
на мечах и на копьях; и везде и всюду
и нападающие и защищающиеся не
совершили ни одного поступка, кото-
рый не соответствовал бы высокой
славе, уже заслуженной ими; вот по-
чему означенный турнир вдвойне
знаменит. В конце состязания был
смертельно ранен главный судья
графства, свояк мессира Шандиу,
дворянин де Фонтен, а также убит
ударом копья рыцарь Сент-Омен*.

Едва зардело
Сиянье дня, —
Конюх, за дело,
Седлай коня!
Прочь, домочадцы!
Мне любо ичаться,
В седле качаться,
Броней звеня.

Ну, так лети же,
Лихой буян!
Скакуи мой рыжий,
Ты ветром пьян.
Нас дразнит эхо.
Нам надо к спеху, —
Звал на потеху
Король Иоани.

Монашек пряткий
С флажкой чернил
Пред кармелиткой*
Главу склонил.
Он мух не давит,
Вопит, гнусанит,
Господа славит,
Тих и уныл.

Кто удостоен
Дворянских прав,
По страсти воин,
По крови граф,
Тот во вселенной
Самозабвению
Игрой военной
Свой тешит нрав.

Мне тошно, право,
В душе черно,
Что меч мой ржавый
В ножнах давно
Весь иступился,
Под стол скатился
И превратился
В веретено.

Там, в зубьях башен
На гребнях крыш,
Светло украшен,
Под солнцем рыж,
За куполами,
Колоколами,

Горит, как пламя, —
Вот он, Париж!

Толпа все гуще,
Шумней, тесней.
О всемогущий,
Что делать с ней!
Навстречу прет нам
Потоком плотным,
По подворотням
Сколько людей!

О мать божья!*
О торжество!
Я у подножья
Встал твоего;
Не знаю ближних,
Не клирик-книжник, —
Я ворон-хищник —
Только всего.

Девушки пляшут.
Подростки им
Платками машут.
Любой любим.
О, сколько песен,
Как город тесен,
Как полон весь он
Светом дневным!

Гуляка рыщет,
На все готов,
Поет и свищет

У всех мостов,
Врет, озорует,
Орет, ворует
И не горюет
Во дни постов.

А Лувр, что заперт
Был на замок,
Открыт, как паперть,
В такой денек.
Трон сторожащий,
Улей жужжащий,
Толпой кишачей
Полон чертог.

И в честь красоток,
В честь короля
Тысячью глоток
Орет земля.
А флаги выются,
А толпы льются,
В ограду бьются,
Пустить моля.

Так, не замедлив,
Начнем как раз!
Город приветлив.
Он любит нас.
Там в ложах смежных
Немало нежных,
Живых, прилежных
Девичьих глаз.

Хромой — натужась,
Горбун — кичась,
Внушают ужас.
Но будет час,
Их меч настигнет:
Тот в некло прыгнет,
Этот поникнет,
В пыл влачась.

Девственник строгий,
Жаждой палим,
Перед дорогой
В Ерусалим,
Лотарь безродный,
Полуголодный,
Видать, угодный
Чертям одним.

Каноник мудрый
Важность хранит,
За чернокудрой
Чуть семенит.
О ней пылаиво,
О ней игриво,
О ней ревниво
Молва звенит.

Вот солнце наше —
Глянь на помост —
Изольда краше
Небесных звезд.
Старухи тоже
Вверх плывут рожи.

Держаться строже
Велит им пост.

А вокруг арены
Легко найдем
Берту, Ирену
С нежным лицом,
Найдем налево
И Женевьеву,
И королеву,
Всю в золотом.

Вот Женевьева
Молвит, склонясь:
«Что, королева,
Печалит вас?»
А та смутилась,
Отворотилась,
Слеза скатилась
Из ясных глаз.

Сигнал к турниру!
Скрещенье пик!
Взывает к пиру
Всеобщий крик.
Сшиблась четверки.
Толпа в восторге.
Будь свят, Георгий!
Король — велик.

Железный скрежет
Лат и мечей
Нам душу нежит.

Все горячей
Молнии блещут,
Сердца трепещут,
Взвиваясь, плещут
Волны плащей.

Разгар погони!
Страстей разгул!
Несутся кони.
Огонь блеснул.
И в ветеренье,
В крови и в пене —
Ангелов пенье,
Дьяволов гул!

Скакун мой добрый,
Потешь меня,
Ударим в ребра
Того коня,
Сразим гнедого,
Получишь вдоволь
Овса любого
И ячменя!

Столь жирной пищи,
Столь щедрых льгот
Обжора-нищий
За целый год
Съесть не изволит,
Как он ни молит, —
Глаза мне колет
Его приход!

Паж погибает
Во цвете лет —

Так увядает
Лилейный цвет, —
Ловит мгновенье,
Молит в забвенье
Благословенья —
В нем жизни нет.

Фанфара грядет,
Глуха, строга.
Отрок не встанет —
Скорбь не долга.
Но пожалейте,
Слезу пролейте, —
Унылой флейте
Вторят рога.

Пускай черницы
Прах стерегут.
Свеч вереницы
Над ним зажгут.
В нише глубокой
У одинокой,
У черноокой
Слезы бегут.

Плачь, Изабелла,
Встань, не дыша, —
В рай улетела
Его душа.
О, грусть подруги,
Ломавшей руки...
Но битва, други,
Все ж хороша!

Пора обратно!
Скажун, лети,
По крови брат мой,
Нам по пути.

Товарищ ратный,
Лети обратно,
Чтоб в замке знатный
Овес найти!

А мне навстречу
Монах придет.
Он с длинной речью,
Лишь знака ждет.
Он чтит святыню
И благостыню,
Но он латынью
Нас изведет.

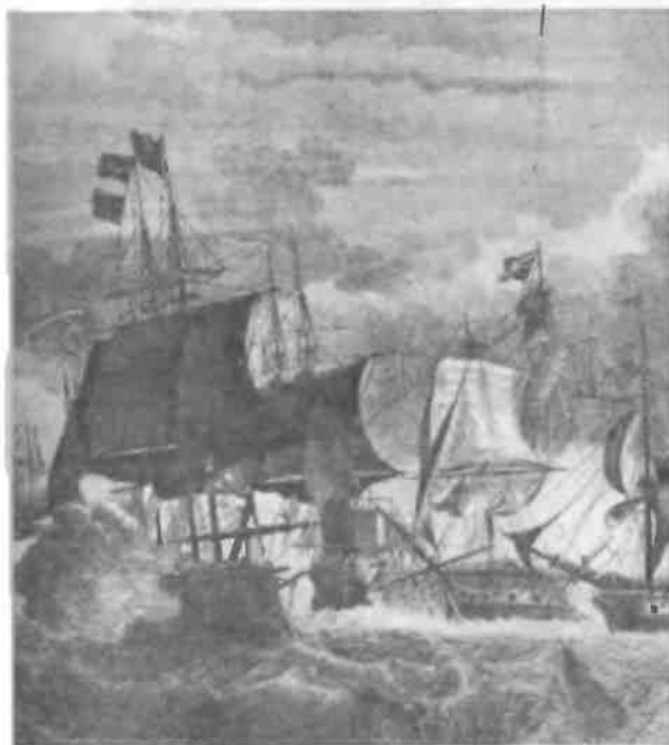
Деянья наши
Он славить рад,
Хоть слог монашеский
Витиеват.
Писать он может,
И все изложит,
И честь умножит
Мою стократ.

Нам, знатым людям,
Это к лицу.
Мы верить будем
Смерду-писцу.

Мы держим шпагу,
Мы чтим отвагу,
А не бумагу, —
Хвала творцу!

Восточные мотивы

1829





КАНАРИС*

Действовать молча.

Старый деви

Когда разбитый бриг блуждает по волнам,
Когда в изнеможенье
Спускают паруса, ядром то здесь, то там
Пробитые в сраженьи,

Когда на палубе всё мертвецы кругом,
Обломки такелажа
Да снасти, с черных реи висящие клубком,
Как спутанная пряжа,

Когда корабль в дыму и грохоте кружит,
Как колесо большое,
И с носа до кормы поток людей бежит
В отлив и прибой,

Когда уже команд не слушает солдат
И воли ужас будят,
А пушки сорваны с лафетов и скользят*,
Сшибаясь в общей груди.

Когда морской колосс уже открыл волнам
Зияющие раны
И развороченный в обшивке медной шрам
Обрызган кровью рдяной,

Когда он без руля по воле воли летит
С пробитой сердцевинной,

Как рыба мертвая, чье брюхо серебрит
Зеленая пучина, —

Честь победителю! Канат он укрепил
Над вражеской кормой
И, как могучий гриф, свой коготь в грудь вонзил
Добыче, взятой с бою, —

Свой поднимает флаг на мачте он чужой,
Чтоб знамя трепетало,
Чтоб отражение, колеблемо волной,
Струило отблеск алый.

Всегда бывало так, когда нной народ,
В сраженьях вознесенный,
Мог пурпур, серебро, лазурь над лоном вод
Развертывать в знаменах.

И в ткани тех знамен был гордой власти знак,
Победой упоенье,
Как будто в зыбн волн оставить может флаг
Свое напечатленье!

У Мальты был свой крест, Венеция, как знак
Могущества морского,
Изображение льва взяла себе на флаг,
Грозящего сурово.

Цвета Неаполя на синеве морской,
Летя по ветру долго,
Струятся на морях живою полосой
Из золота и шелка.

Испания вплела в цвета своих шелков,
В узоры ткани старой

Зубцы Кастилии, Леона гордых львов,
Златую цепь Наварры.

Скрещает Рим ключи, на флаге чтит Милан
Дитя в зубах дракона.
Фрегатам Франции трилистник алый дан
На синем цвете фона.

Серп полумесяца изобразил Стамбул,
А Новый Свет богатый,
Как небо звездное, широко развернул
Свой вымпел полосатый.

Штандартам Австрии привычна тень орла
С двойною головою;
На запад и восток глядит он, полный зла,
Грозя врагам войною.

Другой двойной орел, его соперник, стал
Эмблемой царской власти —
Два мира стережет, а третий мир зажал
В когтях, чтоб рвать на части.

Ликуя, Англия воздвигла на морях
Равбойной чести знамя.
Надменное, оно скользит, внушая страх,
Над бурными волнами.

Властители земли венчают с давних пор
Своим гербом стихии,
И стал уделом тех, кто побежден, — повор
Нести цвета чужие.

Когда суда врагов уводит в дальний порт
Соперник величавый,

Своим разросшимся отныне флотом горд
Под вымпелами славы.

Он горделивый флаг взвивает над кормой,
Изведавшей все беды,
Чтоб враг пронес на лбу повор тягчайший свой
И честь чужой победы.

Канарис же, смельчак, внушая туркам страх,
В морском бою с врагами
Не зная на чужих взвивает кораблях,
А ярой мести пламя!

ЛУННЫЙ СВЕТ

*Per amica silentia lunae,
Vergilius*

Луна дружелюбно молчала.
*Вергилий**

Луна на глади волн сплетает кружева.
Окно распахнуто. Все спит в ночном просторе.
Султанша юная одна. Пред нею море
Серебряной каймой обводит острова.

Вдруг под ее рукой затих аккорд гитары.
Она прислушалась... Там, где-то, плеск глухой.
Турецкий ли корабль плывет во тьме ночной,
И весел слышатся тяжелые удары?

Иль стая птиц морских там бороздит волну
И жемчугами брызг их обдаст пучина?
Иль долетел из тьмы зловещий голос джинна,
Который стен зубцы швыряет в глубину?

Кто волны так смутил под окнами серая?
Нет, это не баклан, одетый в лунный блеск,
Не камни старых стен, не равномерный плеск
Весла, что чуть гребет, ночную тишь печала.

То тяжкие мешки, где слезы, где слова*
Как будто слышатся, где тела очертанья
Возможно угадать средь лунного сиянья.
Луна на глади волн сплетает кружева.

КУПАЛЬЩИЦА ЗАРА

Лучи на лик ее сквозь ветви темной чащи
Бросали тень листвы, от ветра шелестящей.

*Альфред де Виньи**

Зара в прелести ленивой
Шаловливо
Раскачалась в гамаке
Над бассейном с влагой чистой,
Серебристой,
Взятой в горном ручейке.

С гамака склонясь к холодной
Гладн водной,
Как над зеркалом живым,
Дева с тайным наумасньем
Отраженьем
Восхищается своим.

Каждый раз, как чеди послушный
Свой воздушный
Совершает легкий путь,
Возникает на мгновенье
В отраженьи
Ножка белая и грудь.

Осторожно, но отважно
Холод влажный
Зара ножкою толкает:

Отраженьи покачивается —
Засмеется
Зара, чужа холода вод.

Спрячась под листвою темной,
Гость нескромный!
Омовенье совершив,
Выйдет Зара молодая,
Вся нагая,
Грудь ладонями прикрыв.

Как прекрасное виденье,
Остановится, — но вдруг
На мгновенье
Затрепещет влажным телом —
И несмело
Озирается вокруг.

Вот она стоит под нвой
И пугливо
Ловит слухом ветерок.
Пролетит ли шмель над нею —
Вспыхнет, рдея,
Как гранатовый цветок.

Видишь все, что закрывало
Покрывало.
В голубых ее глазах
Словно искры пробегают —
Так играют
Звезды в синих небесах.

Отряхнулась и, как слезы
С листьев розы,
Дождь по телу побегал,
Словно жемчуг драгоценный
На колена
С белой шен вдруг упал.

Но ленивица лукава
И забавы
Не желает прерывать.
Над водой прозрачной рея,
Все быстрее
Начинает напевать:

«Если б я была султаншей
Или ханшей,
Я не мылась бы в пруде,
А в купальне золоченой,
Возле трона,
В амброй пахнущей воде.

В сетке шелковой, атласной
Ежечасно
Я летала бы, как пух,
На тахтах спала богатых,
В ароматах,
Чтоб захватывало дух.

В ручейке с волною зыбкой
Юркой рыбкой
Я б резвилась поутру,
Не боясь, что кто-то может
Потревожить,
Подсмотреть мою игру.

Пусть рискует головою,
Кто со мною
Познакомиться готов —
Встретит сабли стражей черных,
Мне покорных
И свирепых гайдуков!

Я смогу без наставлений
В милой лени
Бросить где-нибудь в углу
Пару вышитых сандалий,
Чтоб лежали
Вместе с платьем на полу».

Так, по-царски наслаждаясь,
Колыхаясь
Над водою взад-вперед,
Попрыгунья позабыла
Быстрокрылый
Вечный времени полет.

Ливень брызг она небрежно
Ножкой нежной
Посылает на песок,
Где свернулся змейкой черной
Весь узорный
Позабывтый пояс.

Между тем ее подружки
Друг за дружкой
Направляются в поля.
Вот их ветреная стая,
Пробегая,
Песню завела, шая.

И летит через ограды
Винограда
Вместе с песенкой упрек:
«Стыдно девушке ленивой,
Нерадивой,
Что не встала к жатве в срок!»

ПРОЩАНИЕ АРАВИТЯНКИ

И живите с нами; земля сия
пространна пред вами, живите и
промышляйте на ней и приобре-
тайте ее во владение.

Книга Бытия, глава XXXIV

Не радуют тебя в моей стране счастливой
Ни стройной пальмы тень, ни пышные олевы,
 Ни изобилье, ни покой,
Ни то, что голос твой любви тревогой знойной
Волнует грудь подруг, летящих в пляске стройной
 На склоне горном под луной.

Прощай, мой белый друг! Конь, выбранный тобою,
Уже оседлан мной, чтоб верною тропою,
 Тебя не сбросив, он понес...
Он землю бьет ногой, и грудь его антая,
Чернея, лоснится, — так лоснится, блистая,
 Волной отточенный утес.

Ты любишь вечный путь. О, если бы пределом
Поставил ты своим досуг в жилище белом —
 Шатра гостеприимный кров!
О, будь мечтателем, что под луной двурогой
Сказанья слушает у мирного порога
 И к звездам улететь готов:

Когда б остался ты, то девушка любая
Служила бы тебе, все в мире забывая
 В открытой хижине своей.
И над тобой склонясь, твой сон бы охраняла
И сладко пела бы, колыша опахало
 Из свежих пальмовых ветвей.

Но ты покинул нас. И мчишься одинокий
Кремнистою тропой, и конь твой быстроногий
 Рой искр из-под копыт метет...
Об острье копья, что пронеслось, сверкая,
Незрячих демонов полуночная стая
 Порой с налету крылья рвет.

Когда вернешься ты неведомо откуда,
Взберись на черный холм, что схож с горбом верблюда,
 И отыщи мой бедный дом, —
Узнаешь ты его, он как домок пчелиный,
А дверь распахнута и смотрит в те долины,
 Откуда ласточек мы ждем.

Но если не придешь — припоминай порою
Тех дочерей пустынь, что легкою стопою
 Босые пляшут на песке.
О юноша-орел! К чужим берегам летая,
Не забывай меня! Наверно, не одна я
 Тобою бредяла в тоске.

Прощай же! Путь твой прям. Но солнце беспощадно,
Нас золотит оно, а вас сжигает жадно, —
 О берегись его, мой друг!
И берегись старух, бредущих одиноко,
И тех, кто вечером на берегу потока
 Жезлом волшебным чертят круг!

ДЖИННЫ

E come i gru van cantando lor lai
Facendo in aer di se lunga riga,
Cosi vid'io venir traendo guai
Ombre portate dalla detta briga.

Dante

Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песней в высоте нагорной,
Так предо мной, стая, несясь круг
Теней, гонимых вьюгой несорной.

Данте*

Порт сонный,
Ночной,
Плененный
Стеной;
Безмолвны,
Спят волны, —
И полный
Покой.

Станный ропот
Взвился вдруг.
Ночи шепот,
Мрака звук,
Точно пенье
И моление
Душ, в кипенье
Вечных мук.

Звук новый льется,
Бренчит звонок:
То пляс уродца,
Веселый скок.
Он мрак дурачит,

В волнах маячит,
По гребням скачет,
Встав на носок.

Громче рокот шумный,
Смутных гулов хор,
То звонит безумно
Проклятый собор.
То толпы смятенной
Грохот непреклонный,
Что во тьме бездонной
Разбудил простор.

О боже! Голос гроба!
То джинны!.. Адский вой!
Бежим скорее оба
По лестнице крутой!
Фонарь мой загасило,
И тень через перила
Метнулась и застыла
На потолке эмеей.

Стая джиннов! В небе мглистом
Заклубясь, на всем скаку
Тиссы рвут свирепым свистом,
Кувыркаясь на суку.
Этих тварей рой летучий,
Пролетая тесной кучей,
Кажется зломещей тучей
С беглой молнией на боку.

Химер, вампиров и драконов
Слетались мерзкие полки.
Дрожат от воплей и от стонов
Старинных комнат потолка.

Все балки, стен и крыш основы
Сломаться каждый миг готовы,
И двери ржавые засовы
Из камня рвут свои крюки.

Вопль бездны! Вой! Исчадия могилы!
Ужасный рой, из пасти бурь вспорхнув,
Вдруг рушится на дом с безумной силой.
Все бьют крылом, вонзают в стены клюв.
Дом весь дрожит, качается и стоит,
И кажется, что нирр его наклонит,
И оторвет, и, точно лист, погонит,
Помчит его, в свой черный смерч втянув.

Пророк! Укрой меня рукою
Твоей от демонов ночных, —
И я главой паду седою
У алтарей твоих святых.
Дай, чтобы стены крепки были,
Противостали адской силе,
Дай, чтобы когти черных крылий
Сломились у окон моих!

Пролетели! Стаей черной
Вьются там, на берегу,
Не пробив стены упорной,
Не поддавшейся врагу.
Воздух все же полон праха,
Цепь еще звенит с размаха,
И дубы дрожат от страха,
Вихрем согнуты в дугу!

Шум крыл нетопырных
В просторах без границ,

В распахнутых равнинах
Слабее писка птиц;
Иль кажется: цикада
Стрекочет в недрах сада
Или крупинки града
Скользят вдоль черепиц.

Этот лепет слабый,
Точно ветерок;
Так, когда арабы
Трубят в дальний рог, —
Дали, все безвестней,
Млеют нежной песней,
И дитя чудесней
Грезит долгий срок.

Исчадий ада
Быстрее полет:
Вернуться надо
Под адский свод:
Звучанье роя
Сейчас такое,
Как звук прибоя
Незримых вод.

Ропот смутен,
Ослабев;
Бесприютен
Волн напев;
То — о грешной
В тьме кромешной
Плач утешный
Чистых дев.

Мрак слышит
Ночной,
Как дышит
Прибой,
И вскоре
В просторе
И в море
Покой.

БУНАБЕРДЫ¹*

Порой Бунаберды, султан Фиренгистана,
Одетый в черный плащ самума и тумана,
Как великан идет на горный пик, в эфир,
И взор его, скользя над морем и пустыней,
В одно мгновение — лежащий в дымке синей,
В зловещей пропасти — весь озирает мир.

Надменно выпрямясь, стоит он на вершине.
Налево — горизонт ликующей пустыни
Горячий вихрь песка к его глазам вознес.
Направо — океан, в былом ему подвластный,
Глубокий голос волн к нему вадывает страстно,
Как на хозяина рычит в восторге пес.

И старый властелин слезу на плащ роняет,
Разбужен гулом волн и вихрем, и мечтает,
Как пылкий юноша, и кажется ему,
Что снова — армия, несметна и незрима,
Вадывая этот прах и шум, проходя мимо
И вечно движется за горизонт во тьму!

Молитва

Когда, Бунаберды, ты снова на вершину
Взойдешь мечтать, — взгляни на скудную равнину,
На мой белеющий среди песков шатер;
Знай: беден я и горд, простой араб свободный,
Но если я скажу: «Аллах!» — мой благородный
Скакун летит, как вихрь, разжегши углем взор!

¹ Имя «Буонапарте» в арабских преданиях превратилось в «Бунаберды». (Примеч. автора.)

НОЯБРЬ

Я сказал ему: ты зна-
ешь, что роза живет недол-
го, что время цветения ее
быстротечно.

Саади *

Когда осенний день все раньше умирает,
Когда скупой закат в тумане догорает,
И небо ноября все ниже, все темней,
И листья сыплются предвестьем снегопада,
О муза, девочка озябшая, ты рада
Ладони протянуть к огню души моей.

Преданье, холод, мрак, парижский день жестокий
Затмят мечту твою о солнечном Востоке,
О милой Азии... Куда ни поглядишь,
Повсюду улицы с их шумом бесконечным.
И стекла тусклые, и дымом грязно-масляным
Окутаны углы однообразных крыш.

Теряются вдали султанши и султаны,
Громады пирамид, верблюжьи караваны,
И рожи стройных пальм, и косяки галер,
Жирафы кроткие, прожорливые тигры,
Кружение баллер, свирепых джиннов игры,
И — неразлучные — араб и дромадер.

И белые слоны, и смуглые рабыни,
И лунный календарь, и купола в пустыне,
Имамы, дервиши и маги, словно сон.
Вдруг расплываются в мерцании простора;
Весь в зелени, сераль; вся в пламени, Гоморра *;
Весь черный, в отсветах багровых, Вавилон.

Париж... Осенний день... И музы голос низкий...
Уходят прочь паши, эмиры, одалански;
Огромнен город наш, а клефту* тесно в нем;
Здесь размялся бы Нил; не жить бенгальской розе
В полях, где все молчит, и спят рои стрекозы,
И пери по снегу плутают босиком.

Ах, муза, девочка, южанка дорогая!
Простоводосая пришла, полунагая
И говоришь: «Ведь ты не очень стар еще?
И мы с тобой споем? А то мне скучно стало...
Окно твоё дождем белесым исклестало,
А помнишь, как оно пылало горячо!»

Ты руки праздные мои легко сжимаешь,
Садись рядом, тихонько обнимаешь,
И я дарю тебе заветные свои
Воспоминания: и школьные проказы,
И клятвы детские подружки ясноглазой,
Которая теперь жена и мать семья.

Я расскажу тебе об утре, о начале:
Как фельянтинские колокола звучали *,
Как юность ранняя моя была дика;
Как я в саду, один, еще десятилетний,
Искал глаза луны во мраке ночи летней, —
Луны, раскрывшейся, как чашечка цветка.

Как на качелях я раскачивался рыно,
Взлетая вверх, к ветвям скрипучего каштана,
Бледнеда матушка и плакала порой;

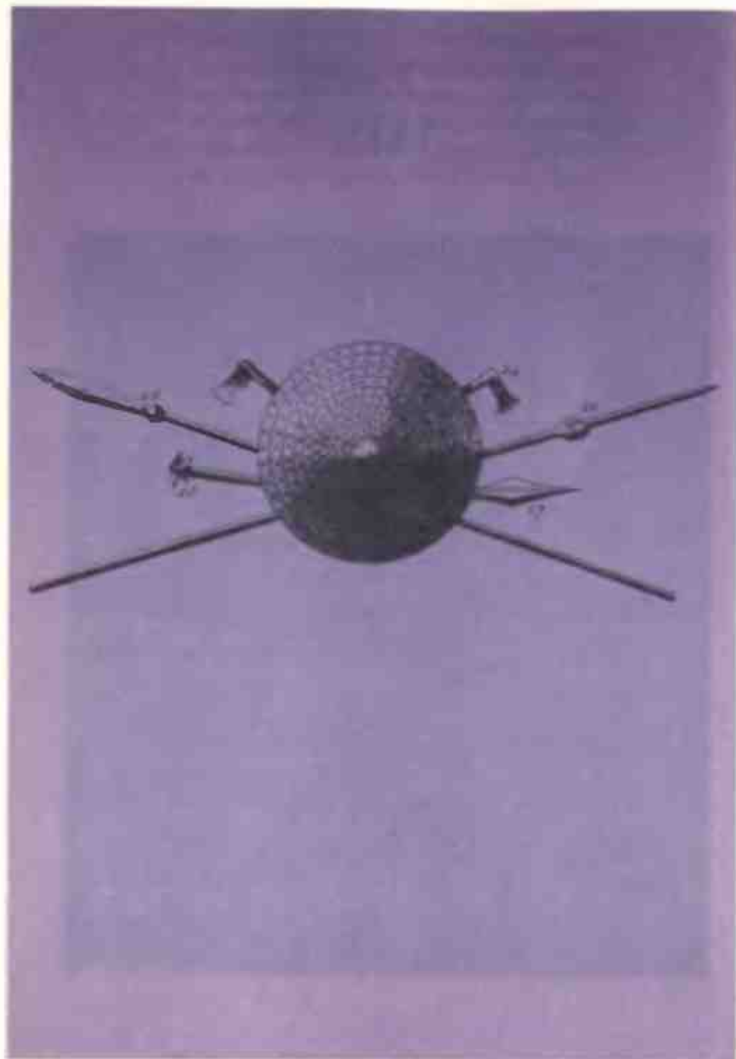
Как нуден был коллеж; как жили мы в Мадриде *;
За императора, в мальчишеской обиде,
Я дрался без конца с испанской детворой.

И добрый мой отец перед тобой предстанет.
И чья-то красота в пятнадцать лет увянет,
И прозвучит рассказ о первых днях любви —
О пестрых мотыльках, о радужных скитальцах,
Что превратятся в пыль в неосторожных пальцах
И не вернутся вновь, — зови или не зови.

Осенние листья

1831





ЧТО СЛЫШИТСЯ В ГОРАХ

O altitudol

O беспредельность!*

Случалось ли всходить вам на гору порой —
Туда, где царствуют безмолвье и покой?
У Зундских берегов иль на скалах Бретани
Кипела ли волна под вами в океане?
Склонясь над зеркалом безбрежной синевы,
К великой тишине прислушались ли вы?

Вы б услышали то, что слух мой приковало
Под небом, на краю гигантского провала,
Где был мой дух немым восторгом обуви,
И здесь была земля, а там был океан,
И голос завывал, какой еще от века
Не волновал души смущенной человека.

Сперва то был глухой, широкий, смутный гул,
Как будто жаркий анхрь в лесу деревья гнул.
То песней лился он, то обращался в шепот,
То рос, как шум грозы, как дальний конский топот,
Как звон оружия, когда гремит труба
И жатвы новой ждут разверстые гроба.
Он ширился, гремел, струясь вокруг вселенной,
Он лился музыкой нездешне вдохновенной;
В надмирной глубине, что синевой цвела,

Волнами обтекал небесные тела,
Изменчивый и все ж хранящий постоянство,
Как форма и число, как время и пространство.
И необъятный строй блистающих светил,
Как в воздухе земля, в стихии звуков плыл.
Повсюду — без конца, без мер, без начала
Неизъяснимая гармония явучала.

И зачарованный эфириных арф игрой,
Как в море я тонул в том голосе порой.

Но, вслушавшись в тот звук, я вдруг услышал ясно
В одном — два голоса, звучащие согласно:
Всемирный гимн творцу вздымая в небеса,
Земля и океан сливали голоса,
Но разнo слышались в том ропоте глубоком —
Так две струн, скрестясь, текут одним потоком.

Один летел от волн — гимн славы, песнь хвалы,
И пел эту песнь шумящие валы.
Другой был от земли — глухая песнь печали,
И в нем людские все наречия звучали.
И каждый человек, и каждый в море вал
Неповторимый звук в великий хор влетал.

Тот гимн, бушующим рожденный океаном,
Дышал и радостью и миром несказанным.
Как струны арф твоих, ликующий Сион*,
Восторженной хвалой творенье славил он.
Пред ликом божьим, в дыханье буйном шквала,
Пучина грохотала все громче ликовала,
Не умолкло пенье волн — лишь падала одна,
Подхватывая песнь, другая шла волна.
Но вдруг, как ярый лев при виде Даниила*,

Свой неумолчный рык пучина прекратила,
И, глядя на закат, узрел я над водой
Десницу божью на гриве золотой.

И в голосе другом, как визг железа ржавый,
Вплетался он в аккорд фанфары величавой;
Так конь в испуге ржет, так стонут и скрипят,
Впуская грешников, затворы адских врат;
Так медную струну пилят смычок железный, —
Проклятье таинствам, последний крик над бездной,
Как вызов, брошенный вселенной судьбы,
Брань, богохульства, плач, угрозы и мольбы,
Все в общий гул слалось, — так птиц полночных стая
Шумит, над сонною долиной пролетая.
Но что же было то? Мне не забыть вовек:
То плакала земля и плакал человек.

Два этих голоса, два непостижных зова,
То умолкали вдруг, то возникали снова.
«Природа!» рокотал один сквозь бездну лет,
И «Человечество!» гремел другой в ответ.

И я задумался. Мой дух на той вершине
Обрел крыла, каких не обретал доныне.
Еще подобный свет не озарял мой путь.
И долго думал я, пытаюсь заглянуть
В ту бездну, что внизу, под зыбью волн таилась,
И в бездну, что во тьме души моей раскрылась.
Я вопрошал себя о смысле бытия,
О цели и пути всего, что вижу я,
О будущем души, о благе жизни брениной.
И я постичь хотел, зачем творец вселенной
Так нераздельно слал, отнял у нас покой,
Природы вечный гимн и вопль души людской.

* * *

Æstuat infelix.

Колелеблется несчастьявй*.

Однажды Атласу*, завиставно-ревнвы,
Холмы сказады так: «Взгляны на эты нвы,
На свежые луга, где, страх забыв, одна,
Гуляет девушка, в мечты погружена.
Суровый океан, порыв смирля гневный,
Целует ноги нам, баюкая напевно;
Короны из цветов, обрызганных росой,
Увечивают нас в палящй летний зной.

Но почему, гигант, орлов утрюмых стая
Кружится над тобой, вершину задевая?
Зачем ты бсатнями туманными изрыт?
Что за гроза всегда над скалами гремит?
И отчего спина гранитная клонится,
Как ветка, где гнездо себе свивает птица?
Кто ледяной твой лоб, где лето не цветет,
Морщинами покрыл? Зачем обильный пот
Течет с него? Зачем ты горбишься, тоскуя?

И Атлас отвечал: «Мир на себе несу я».

* * *

Oh primavera! gioventù dell' anno!

Oh gioventù, primavera della vita!

О весна, юность года!

О юность, весна жизни! *

О письма юности, любви живой волнение!

Вновь сердце обожгло бывшее опьянение,

Я к вам в слезах приник...

Отрадно мне, забыв о прочном, тихом счастье,

Стать юношею вновь, тревожным, полным страсти,

Поплакать с ним хоть миг.

Мне восемнадцать лет... Я жила, в мечтах сгорая,

Звезда светила мне, надежда золотая

Ткала мне дивный сон.

Я всем была для тебя, души моей спятыня...

Я была тем мальчиком, перед которым ныне

Красною, умлен.

О пробуждение сил, дим светлой благодати!..

Похитить твой платок, следить мельканье платья,

Ждать — не пройдешь ли ты...

От жизни требовать любви и славы вечной

И верить радостно, тепло, чистосердечно

В мир светлой красоты!

Я жила, я все познал, изведал в полной мере;

И обольщенный рой к моей скрипящей двери

Не прилетит, о нет!

Безумный возраст тот, весь в грезах и смятенье,

Тревожный, трепетный, как ярост он в сравненье

Со счастьем зрелых лет!

В чем, годы юности, я виноват пред нами?
Зачем, недолго так меня пьинив мечтами,
Расстался вы со мной?

Не унести меня лазурным вашим крыльям!
Зачем же дразните цветущим изобильем,
Утраченной весной...

Когда нам молодость улыбок отрадной
Блеснет на миг один, о, как мы ловим жадно
Край золотых одежд...
Миг ослепительный! Он молнии короче!
Очнувшись, слезы льем, — в руках одни лишь клочья
Блеснувших нам надежд!

Забуть, все позабуть! Да, юность миновала,
И пусть уносит нас порывом злого шквала
К закату наших лет!..
Все бrenно на земле! Не разрешив загадки,
Как тени мы скользнем по нашей жизни краткой,
И наш сотретсЯ след.

* * *

Все, что подходит тебе, о мироздание, подходит и мне. Ничто для меня ни слишком рано, ни слишком поздно, если оно своевременно для тебя. Все, что приносят твои часы, о природа, есть благой плод. Все — из тебя, все — в тебе, все — в тебя.

*Марк Аврелий**

Когда вокруг меня все спит, сижу часами
Под звездным куполом, сверкающим над нами,
И чутко слушаю ночные голоса.
Пусть крылья времени трепещут надо мною, —
С волненьем я гляжу на празднество ночное,
Которым чествуют природу небеса.

И кажется тогда, что в мирозданье спящем
Лишь я один согрет огнем светла палящим,
Что одному лишь мне постигнуть их дано,
Что я — пустая тень, немой, случайный зритель —
Ночного торжества чудесным повелитель,
И небо для меня во тьме озарено.

БЕЗДНЫ МЕТЧЫ

Obscuritate rerum verba saepe obscurantur.
Gervasius Tilberiensis

Сложность предмета ведет
к сложности выражения.
*Гервазий Тильберийский**

О не тревожьте рой мечтаний сокровенных,
Не удаляйтесь в глубь своих садов священных
И, сиящий океан завидя пред собой,
Страшиться бездны вод коварно-голубой,
Затем что мысль мрачна! Уклон неощутимый
От мира зримого уводит в мир незримый.
Пред нами — лабиринт протяжен и глубок,
Он ширится, растет, сливается в клубок,
И, в жажде уловить загадку роковую,
Мы в сумрачном пути сгораем зачастую.

Недавно дождь прошел, просторы замутив,
Был праздник летних дней и ветрен и дождлив
И май во всей красе не встал перед глазами —
Он, как апрель, мешал улыбку со слезами.
Я штору отвернул, и, солнцем залиты,
Предстали мне вдали деревья и цветы.
На свежей зелени рассветное светило,
Играя радугой, дождинки золотило;
Мне в душу ворвался, как радость без границ,
Крик резвой детворы и гам влюбленных птиц.
Париж, расцветший вяз, собор, лачуги, здание —
Все это плавало в торжественном сиянье
Светила майского, чей луч, скользя во мхах,
Жемчужины зажег на острых стебельках.
И повлекло меня в прекрасное соседство —
К тройной гармонии весны, рассвета, детства;

И Сена, прихоти своей, подобно мне,
Послушная, текла, — и в солнечном огне
Парами мгlistыми на отмели безлюдной
Согласно таяла с моею грезой чудной.

И вот вокруг меня возникла череда
Друзей — я видел их такими же, когда
Сходился под вечер: и вычертился резко
Пред взором мысленным — вы с кистью, полной
блеска,

И вы, чьей волею, дышавшей торжеством,
Крылатый стих взмывал в полете огнем.
Я всех вас разглядел своим всезорящим оком —
Всех, даже тех из вас, кто был в пути далеком.
Потом умершие предстали мне на миг,
Какими некогда я знал при жизни их.
Прошло мгновение, как силою чудесной,
Их сонм увидел я в своей камерке тесной,
И мне почудилось, что, дрогнув, их черты
Тускнеют медленно, как дымок повиты.
И все вокруг меня в кипенье небывалом
Мелькало, как поток, несущийся по скалам.
Безумие, чему нет меры и границ,
Хаос неведомых шагов, наречий, лиц!
Громады городов, их гул, превосходящий
Гуденье тысяч пчел над ропот дикой чащи,
Пустыней огненной идущий караван,
И моряки, чей дом — господний океан, —
Они, кто словно мост над бездной наумрудной,
След от страны к стране проводят килем судна, —
Так по ветру паук свою пускает нить,
Чтоб сетью легкою дубы соединить.
Два полюса. Моря и суша, — круг всесветный,
Вершины снежных Альп и черный кратер Этны,

Зим, весен, осеней и лет живая связь,
 Долины, что к морям сбегают, становясь
 Заливами; морей бескрайние просторы,
 Куда презауются причудливые горы,
 Материки во мгле нль в зелени сплошной,
 Глодаемые злой, упорною волной, —
 Все, будто в камере-обскуре*, отражалось
 В моем сознании; все в нем жило, качалось,
 Дышало, двигалось, то ручьевою волной
 Бурая, то мглистою волнуясь пеленой.
 Усердствуя, вперед в стремительном порыве
 Летела мысль моя, сменяясь прихотливей
 Дыхания ветров и поступи времен.
 И в беспредельные просторы унесся, —
 Я мчался и выдал порою, как в угаре,
 Близ бурных городов обоих полушарий
 Другие, странные обличьем, города,
 Могильники времен, угасших навсегда,
 Строй башен, строгий ряд гранитных заваяний —
 С подошвами в морях, с вершинами в тумане.
 Иные высались и там — по городам,
 Где нынче слышался живых тревожный гам,
 И с древности глухой и по сегодня зримо
 Являлись мне черты трехъярусного Рима*;
 Когда же, сообщая подъемля голос свой,
 Живые города гудели, как прибой,
 Народным ропотом нль поступью военной, —
 Былые города, молчаливники вселенной, —
 Ни звука в глубине и ни дымка навне, —
 Что улы без росы, коснели в мертвом сне.
 Я слушал. Гул вставал. То — мертвецы без счета,
 Тех городов жильцы, стремясь открыть ворота,
 Живым подобные, толпой угрюмой шли
 В тяжелой, по ветру клубящейся пыли.

От башен, пирамид, и арок, и пилонов
 Сходил я к таинствам древнейших Вавилонов,
 Я видел Карфаген*, Тир*, Фивы* и Сион —
 Марш нескончаемый народов и племен.
 И вот я обнял все: лик древности — и вместе
 Лик настоящего; пропавшие без вести
 Дни прошлые — и те, какими цвести черед;
 Был весь, как на духу, людской несметный род.
 Все, разом говоря, там жаждало огласки:
 Этруск Эвандра*, с ним Орфеевы пеласги*,
 Колосс египетский, Ирмина* псымена
 И Новый Свет, чья речь настолько же темна.
 Но, милые друзья, едва ли на холсте я
 Изобразить бы смог мечты моей затей:
 То зданые грузное, хаос пространств и лет,
 И тружеников тех, чей несмыслим след,
 Чей неустанен труд, размеренный и строгий,
 Кто вверх взбираются, скрепив свои дороги,
 И, речи заводя, друг друга не поймут;
 И, как потерянный, блуждая там и тут,
 У встречных я искал ответа нестусленно
 На лестницах крутых колосса-Вавилона*.
 Так, в мрачной грезе той, средь сонма диких див,
 Вся ночь безумная прошла, мой дух смутив.
 В краях, куда ничье не проникало око,
 Где без числа людей, где море тьмы глубокой,
 Все было тайн полно... Лишь некий вздох порой,
 Взметнувшись для того, чтобы в дали глухой
 Мне скопища людей представить вековые,
 Из тьмы выхватывал прорывы светлые, —
 Так ветер бороздит равнины хируых вод
 Иль на разливе хлебов волнистый след кладет.
 Внезапно мрак возрос, глубокий, как в могиле,
 Исчезали образы, и дали отступили,

И я, придя в себя, вернулся в бытие,
И охватила дрожь все существо мое.
Я был один. Кругом все сгинуло. Просторы
Чернели, лишь вдали, сквозь мрак, ловили взоры
Ров, кипящие в пространстве и веках,
Как море в яростно клокочущих волнах.
О, это мрачное, двойное это море,
В чью даль корабль людской плывет, с судьбою
споря,

Я рвался в глубь его, наперекор волнам,
Чтоб некий клад в песках открыть и вынести вам,
И рассказать вам, где века его ютили —
Среди замшелых скал мал в поседлом мае.
На дно безвестных вод мой дух меня увлек,
И в бедне плавал я и наг и одинок,
От нескванного к незримому блуждая.
Вдруг, с воплем ужаса, покинул те места я.
Подавлен, угнетен, сгорая, как в огне,
Затем что вечность я нашел на дальнем дне.

Песни сумерек 1835





ПРЕЛЮДИЯ

О, как тебя назвать, слепое утро века?
Струится мутный пот у каждого с чела.
В небесной вышине и в сердце человека
Сливаются в одно сияние и мгла.

Отчаянье, любовь, надежда, упование —
Не на дневном свете, но и не в тьме они.
Весь мир скрывается в обманчивом тумане.
Полуокутан мглой, но в этой мгле — огни.

И эта мгла гудит, ошеломляя разум.
В ней все сливается: вот слышен птицелов,
Вот в шорохе листьев мы разлечаем разом
И щебет птенчиков и шелест лепестков.

В ней все сливается: шаги того, кто волен
Искать нелегких путей в неведомых полях,
И предвечерний звон высоких колоколов,
И шорох в гнущихся зеленых камышах,

И плещ, трепещущий на каменных чертогах,
И буря, коричнею грозящая бедой,
Повозки, на лесных застрявшие дорогах,
Где ось цепляется, как наша мысль порой;

И саамы нищенки, едва влачащей ноги,
И слуги дьявола, и слуги Егвы*,
Стук сердца юного, шаг чей-то на дороге
И замирающий, невнятный глас молвы;

Стихия воли — лишь бог ведет им счет, несметным, —
И ветер, и ручей, бегущий по камням,

И все, что, покорясь людским стремлениям тщетным,
Плуг говорит земле и колесо — путям;

Лады, где слышатся во мраке звуки лиры,
Лады, которую уносит вдаль река,
Орган лесов в горах, над суетою мира,
И голос городов, где слезы и тоска;

И человек, чей стон не знает облегченья,
В наш век, где надо всем смеется зло мудрец,
Чуть утвердится что, сейчас спешит сомненье
Осадком пагубным осесть на дно сердец, —

И эти голоса, грозя нить обещая,
Сливаются в напев, что в муках родовых
Поет эпоха нам, во мгле приготавливая
Иль мертвецам гробы, иль зыбку для живых.

Восток, восток, посток! Что видно там, поэты?
Туда направьте мысль, туда впери́те взор!
И слышим мы в ответ: «Там близок час расцвета,
Бледнеет небо там и рдеют гребни гор».

Но страшен этот свет над полосой горной,
Безмолвен горизонт, белеющий слегка.
Так далеко в ночи сверкает пламень горня,
Хоть не слышим еще удары молотка.

Но нам неизвестно, действительно ли это
Сияньем солнечным лучи зари горят,
Иль то, что в этот час таинственного света
Восходом кажется, — быть может, то закат?

За утро, может быть, мы вечер принимаем?
И солнце дивно, горящее светло,
Которого мы ждем над позлащенным краем,
То солнце, может быть, наоборот, зашло?

Как! Неужели же зари не очевидна?
Тревожней, что ни миг, биение сердец.
Уже не видно нам или еще не видно?
Что ж это, небеса, — начало или конец?

Всю землю в сумерках томленье охватило.
Мир, для которого в пространствах незыблемых
Блестит от нас нить к нам идущее светило,
Тот мир закрыл глава нить открывает их?

Быть может, голоса, встающие без счета,
Смущающие нас повсюду на пути, —
То крыльев весенье, раскрытых для отлета?
Быть может, в этот миг земля кричит: «Прости!»

Быть может, этот звук, что льется, слух лаская,
Как лютня нежный звон, как вздоха легкий след, —
То песня нового, проснувшегося рая?
Быть может, в этот миг земля кричит: «Привет!»

Вот дрогнула листва: от счастья нить печали?
Вот целакнула соловей: смеется ль, плачет он?
Вот океан шумит: то радость ли, тоска ли?
Вот голоса людей: то песня или стон?

В туманных сумерках никто не видит цели.
Вот на скамье, склонясь над книгой древних лет,
Священник, старенький и грустный, сле-сле
Читает по складам божественный завет.

Но пастыря, увы, напрасен труд упорный!
Не внемлет человек божественным словам.
Сомнение кругом взошло травой сорной.
И есть угроза тут, и есть надежда там.

Что сами мы судьбу вершим свою, не верьте!
Во сне и наяву, всегда над нами рок.
И к жизни ль мы идем, несемся ль прямо к смерти,
Но час свершения — уже он недалек.

Вдали, где все звучит, окутанное тенью, —
Там разгорается нль гаснет небосвод?
О смертный, подожди еще одно мгновенье:
Иль ночь опустится, нль солнце нам блеснет.

На сумрачный восток взирая, как другие,
Внимая каждый звук, суров нль нежен он, —
И голоса небес, и голоса земные,
И мощный ропот всех и каждый слабый стон, —

Все отразил поэт. В творениях поэта,
Как в эхо горестном, нашли себе исход
Все чаянья земли, все то, о чем планета
Кричит, поет, твердит, пока во мраке ждет.

* * *

О ты, Анакреон*, любви живой родник!
На высях мудрости античной ты возник,
Прозрачный, ты бежишь меж берегов зеленых,
И мы любимся тобой на горных склонах.

Желанна мне твоя певучая струя...
Когда стремительно ведет нас ввысь стезя
И солнце утомит — передохнуть мы рады
У светлого ручья под горною громадой.

Внутренние голоса

1837

★ ★ ★

О, если нас зовет в луга цветущий май —
Пойдем! И вольно ты с душой своей смешай
Природу, и леса, и сень листвы над нами,
Просторы лунные над спящими волнами,
Тропинку, что ведет к дороге там вдали,
И воздух, и весну, и на краю земли
Огромный горизонт, с отрадой неумолимой
Одежд небесных край лобзающий смиренно.
Пойдем! Пусть все вокруг: пусть авсад стыдливых взглядов,
Стремящийся к земле сквозь тысячи преград,
Листва, таящая и песнь и ароматы,
Дыханье знойное полудня с нивы сжатой,
И зелень, и воля, и тень, и солнца свет,
Природы всей кругом сияющий расцвет,
Пусть вся она твоё цветение удвоит:
Челу даст красоту, душе — любовь откроет!





АЛЬБРЕХТУ ДЮРЕРУ*

В густых лесах, где ток животворящей мглы
Питают крепостью древесные стволы,
Не правда ль, сколько раз, добравшись до просеки,
Испуган, поблещишь, поднять не смея веки,
Ты ускорял, дрожа, свой судорожный шаг,
О Дюрер, пестун мой, о живописец-маг!
По всем твоим холстам, которым мир дивится,
Нельзя не угадать, что взором духовидца
Ты ясно различал укрывшихся в тени
И фавнов лапчатых, и лешего огни,
И Пана, меж цветов засевшего в засаду,
И с пригоршней листьев бегущую дриаду.

Ты в лесе видел мир, нечистый испокон:
Двусмысленную жизнь, где все — то явь, то сон.
Там — сосны льнут к земле, здесь — на огромном вязе
Все ветви скрючились в замысловатой вязи.
И в чаще, движимой, как подоросль на дне,
Ничто не умерло и не живет вполне.
Кресс тянется к воде, а ясень на кручах
Под страшным хворостом, в терновниках ползучих
Сгибают черных стоп уластые персты;
Лебяжьешене глядят в ручей цветы,
И, пробужденное шагами пешехода,
Встает чудовище и, пальцами урода
Сжимая деревья широкие уалы,
Сверкает чешуей и мечет взор из мглы.
О прозябание! О дух! О персты! О сила!
Не все ль равно — кора или кожа вас покрыла?

Учитель, сколько раз я ни бродил в лесах,
Мне в сердце проникал тебе знакомый страх,

Чуть дунет ветер, и я увижу, как повисли
На всех ветвях деревьев их сбивчивые мысли.
Творец, единственный свидетель тайных дел,
Творец, который все живущее согрел
Скрытым пламенем, он знает: не случайно
Я всюду чувствую бие жизни тайной
И слышу в сумраке и смех и голоса
Чудовищных дубов, разросшихся в леса.

КОРОВА

В углу просторного двора, где в полдень летний
Дремал на солнечном пороге дед столетний
И рдели гребешки неутомимых кур,
Где стражи полночи из заспанных конур
Внимали пению предутреннего стража,
А тот искрился весь, округу будоража,
Там у побеленной стены, у двери в хлев,
Корова скотницу ждала, отяжелая
От молока, и взор светился умилением —
Точь-в-точь олениха над выводком оленьим:
Большая, рыжая, она была добра,
Под животом ее шальная детвора,
Чумакая гуляла мальчишек белозубых
Тянулась к вымени; порой от пальцев грубых
Страдали нежные, обильные сосцы,
И громко через двор кричали сорванцы,
Поест, попить, поскандалить младших братьев,
И те, на долгий путь немало сил потратив,
Насытились рекой парного молока,
Дрожали от толчков шершавые бока,
Но, к несмысленным голодным несурокам,
О чем-то думая, смотрела вдаль корова.

Природа! Вот пример твоей же доброты!
Всё в мире сущее, как мать, вскормила ты,
Амброзию мечты мешая с пищей тленной,
Разлитое молоко твоё по всей вселенной!
Что остается нам, поэтам, мудрецам,
Как не припасть к твоим питательным сосцам!
К неиссякаемым источникам, где каждый
Спасенье обретет от сокровенной жажды

И млеко обратит в пожар багряных вен!
Огонь небес твоих, твой свет благословен:
Вбираем взором мы поля, леса, отроги,
Покуда о своем ты размышляешь бже.

НОЧЬЮ, КОГДА БЫЛ СЛЫШЕН ШУМ НЕВИДИМОГО МОРЯ

Что за гул и вой
К нам несутся с моря?
То, с волнами споря,
Ветер штормовой
Рыщет на просторе.
Чей-то крик, далек,
Гул тот прерывает...
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

Дождь все льет и льет,
И нетерпеливо
Бьет прибой в обрывы.
Черен небосвод,
Близок час прилива.
Я совсем продрог,
Так зимой бывает...
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

Горе рыбакам!
Кто во мраке стонет?
Буря их погонит
К рифам и камням,
Лодка их затонет...
Якорь не помог,
Шторм его срывает.
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

Мрак ночной навис,
Рыбаки, над вами.
Ветер, как зубами,
Паруса изгрыз,
Вы — как в черной яме.
Кто на руль налет,
Кто изнемогает...
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

Но маяк блеснул,
Рыбаки спасутся,
К берегу несутся...
Воли не страшен гул,
Пусть о скалы бьются!
Яркий огонек
Сквозь туман мигает.
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

НЕ БОЙСЯ*

[Tentanda via est]¹

Не бойся, добрая и любящая мать,
За сына своего, когда он понимать
Так рано начал все! Не полагай, что это —
Недолговечности опасная примета.
Пускай твой маленький задумчив и угрюм,
Как будто ум его коснулся сумрак дум!
Кто знает? Может быть, подобно птичке белой,
Сидящей на скале в виду освирипелой
Пучины моря, он уж видит сквозь туман,
Как близится к нему весь жизни океан.
Ребенок хмурится, как птичка хохлит перья, —
А ты, полна любви, исполнись и доверья
К святому промыслу и посмотри светло
Ребенка милого на уминое чело.
Мечтает он? Так что ж! К мечтам так близок гений!
Мечты те выжгутся в горниле размышлений;
Мыслитель будет он, а мысль — святой залог
Всего великого, в ней жизнь миров, в ней бог.
Да! Пламенная мысль, сказав «твори!» таланту,
Дает Мильтону рай, ад завещает Данту*.
Поверь — великая ребенка участь ждет,
Когда он жаждет знать, когда предугадает.
Недаром действует в нем Прометеев пламень.
Он вопросительно глядит теперь на камень,
А там — с резцом в руке и с мрамором в борьбе —
Он Микеланджело нам воскресит в себе.
И дивный образ даст порфирам и гранитам;

¹ Нужно испытать сей путь (лат.).

Или вонтедем предстанет знаменитым,
И посреди царьков и поземельных карт
В нем миру явится Франциск* иль Бонапарт,
И царственный игрок, лишь славы отголоску
Внимая, мир сочтет за шахматную доску,
Где будет раздвигать несметных пешек ряд,
Пока ему судьба не скажет: шах и мат!
Как знать? Пойдет с трубой иль под компасным румбом
Он в исбо Гершелем*, иль в океан Колумбом,
Схватить сквовь горы воли или сквовь весь эфир
Иль новую звезду, иль новый чудный мир.
Кто ведает? Среди младенческих усилий
Растет, быть может, в нем певец певцов — Вергилий,
Стремящийся сорвать бессмертия венец,
Стихом поколебать весь мир и, наконец,
Крылатым гением, подобно дивной тени,
Лететь по головам грядущих поколений.

Лучи и тени

1840





★ ★ ★

Как в дремлющих прудах, среди лесной глуши,
Так видим мы порой на дне людской души
И ясную лазурь, где проплывают тучи,
Где солнца луч скользит, беспечный и летучий,
И тину черную, где мрак угрюмо спит,
Где злобных змей клубок невянятно шелестит.

ГИТАРА *

Тут Гастибелса вышел к ним с гитарой
И начал так:
«В Толедо жила я у дороги старой
И как простак
Сабину юную любил без меры —
Любовь — чума!
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

Кто мать Сабини, как не ведьма злая?
Кто в темноте
На башне Манья воеет, не желая
Жить во Христе?
Она из мавританской Антекеры,
На ней чалма!
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

Что жизнь людская, дорогие гости?
Недолгий сон!
Поводырю слепца монетку бросьте!
Я была влюблен!
К чему румяна дочерям Венеры,
К чему сурьма?
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

Сабину королева ревновала
За красоту,
Когда она перед дворцом, бывало,
Шла по мосту, —

Корсет из шелка, пояс темно-серый,
А бахрома!..
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

Король увидел, как прекрасны плечи,
Как стан высок,
И прошептал: «За миг счастливой встречи,
За волосок
Не жаль сокровищ сказочной пещеры —
Решай сама!»
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

Как пес, готов я был перед Сабинной
Вялять хвостом,
Быть рядом, взор увидеть голубиный,
Ну а потом
Пускай меня б сослали на галеры,
Пускай тюрьма!
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

Тот летний полдень весел был и светел:
Сойдя к реке,
Сабину с младшей я сестрой заметил
Невдалеке.
Прокрался я неслышное пантеры,
Следил с холма.
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

Простой пастух, я разглядел колени
Небесных дев.

Сам Цезарь о таком мечтал бы плене,
Помолодев.
К египтянке повел бы он триеры*,
Презрев шторма!
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

В ответ на повесть про мои страдания,
Смеясь в лицо,
Сабина бросила: «Мне граф Сальданыя
Купил кольцо!»
Танцуйте же под звуки хабанеры!
В душе — зима.
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!

Без долгих уговоров на чужбину,
Богатством прав,
Навек увез красавицу Сабину
Безбожник граф —
В Серданию, в Кордову, за Кордильеры,
Неглуп весьма.
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума.

Не крикнул я, не выхватил кинжала,
Не запер дверь!
Мне одному она принадлежала,
Что я теперь?
Нет без Сабины ни любви, ни веры,
Понсюду тыма.
Ты снова дуешь, свежий ветер сьерры,
Сводя с ума!»

ДРУГАЯ ГИТАРА *

Спросили они: «Как в летучих челнах
Нам белою чайкой скользнуть на волнах,
Чтоб нас сторожа не догнали?»
— Гребите! — они отвечали.

Спросили они: «Как забыть навсегда,
Что в мире юдольном есть бедность, беда,
Что есть в нем вражда и печаль?»
— Засните! — они отвечали.

Спросили они: «Как красавицу привлечь
Без чары, чтоб сами, на страстную речь,
Оне нам в объятия пали?»
— Любите! — они отвечали.

ВСТРЕЧА

Монету бросив им, замедлил шаг прохожий,
Увидев восковой обтянутые кожей
Запахшие виски и желтизну их щек.
Усевшись вчетвером под деревом в кружок,
По-братски малыши делили меж собою
Хлеб, добротную протянутый рукою,
И был так сумрачен, так горестен их вид,
Что, с ними встретившись, заплакала б навзрыд
Любая мать. Одни, один на целом свете,
Среди чужих людей затерянные дети,
Без дома, без угла... Прикрытые тряпьем,
Босые, жалкие... и только на одном
Болтались башмаки, большие, не по росту,
В которых и шагать не так-то было просто.
Как зябнут малыши, должно быть, поутру,
В канаве пробудясь иль в поле на ветру, —
Когда, от пенья птиц проснувшись пред рассветом,
Деревья на небе проступят силуэтом.
Не мало горестей досталось малышам.
В воскресный день они бредут по деревням
И, выпросить на хлеб стремясь, поют нестройно
Куплеты грязные, хоть смысл их непристойный
Совсем невяныт им. В зловонье кабака
Поют, чтоб пьяного потешить старика,
И если счастье им сопутствует, в награду,
Как дьявола плевков, как милостыню ада,
Швырнут им жалкий грош, которым каждый рад
Отделаться от них. И вот они едят
Все вчетвером свой хлеб, в тени деревьев сидя,
Всегда дрожащие, привычные к обиде,
Привычные к тому, что бьют и гонят их,
Что снова у дверей — у ваших, у моих —

Стоять голодными придется им не мало
И вновь за старшим вслед брести куда пошло.

...Прохожий глянул ввысь, и встретил взор его
В бездонной синеве небес лишь волшебство
Слепительных лучей и тонких струй эфира...
И полные тепла, благоуханья, мира,
Роняли небеса, по благодати своей,
Веселый щебет птиц на этих малышней.

ГРУСТЬ ОЛИМПИО *

Сиял лучистый день в лазури без предела.
И зелень на полях еще не поредела;

Цвел, как весною, луг,
Был воздух напоен дыханьем аромата,
Когда вернулся он под небо, где когда-то
Изведал столько мук.

Леса с крутых холмов склонялись над долиной,
Их осень золотой одела паутиной,

Был небосвод в огне,
И птиц согласный хор творцу слагал моление,
Звучало как хорал торжественное пенье
В прозрачной тишине.

Он жаждал вновь узреть и пруд в заветном месте,

Лачугу бедняков, что посещали вместе,
И одряхлевший вяз,

То дерево — оно в глуши лесной укрыто,
Убежище любви, где души были слиты
И губы много раз.

Упорно он искал и дом уединенный,
Ограду и густой, таинственный, зеленый
Знакомый сад за ней.

Печален он бродил, а перед ним в смятенье
Под каждым деревом, увы! вставали тени
Давно минувших дней.

Он слышал средь ветвей тот ветер, что тревожит
И листья легкие, и сердце, и, быть может,

Забывшую мечту,

Колеблет дерево и нежное растение
И оживляет все, чего хоть на мгновение
Коснется на лету.

Опавшая листва, шагам его винная,
Шуршала под ногой, стараясь, как живая,
Подняться вверх с земли.

Так мысль бессильная, когда душа томится,
Пытается взлететь, как раненая птица,
И вновь лежит в пыли.

Он созерцал в полях природы лик чудесный,
Скитался он, пока на синеве небесной
Не вспыхнула звезда.

Он грезил целый день, блуждая по долине,
Любуясь то зарей на глади темно-синей,
То зеркалом пруда.

Увы! он вспоминал далеких дней отраду.
Отвержен, одинокий, взирая за ограду,
Безмерно утомлен,

Он целый день бродил, и вечером уныло,
Когда душа была печальна, как могила,
Скорбя, воскликнул он:

«О горе! я пришел в тоске невыразимой,
Усталый, жаждущий, волнение затая,
Хотел увидеть то, что было так любимо,
Часть сердца моего, что здесь оставил я!

Как безвозвратно все уносится забвением,
Природы ясный лик измечив без конца,

И как она легко своим прикосновеньем
Рвет узы тайные, связавшие сердца!

Знакомый старый виз безжалостно срубили,
Зеленый наш приют терновником зарос,
И в пышном цветнике, который мы любили,
Ломают детвора кусты душистых роз.

Стеною скрыт фонтан, откуда в полдень душный
Пила, придя с холмов, любимая моя.
Прозрачная вода в ладонь аялась послушно,
Стекала по руке жемчужная струя.

Теперь замощены неровные дороги,
Где рядом с ней мы шли, всегда рука в руке,
Где оставляли след ее босые ноги —
Едва заметный знак на глыбе и песке.

Ограда старая дорожного откоса,
Когда-то часто ей служившая скамьей,
Теперь изломана: ее дробят колеса
Телег, что вечером торопятся домой.

Здесь прежней рощи нет, там новая окрепла,
Как мало я нашел от прошлого живым.
Воспоминания, как горсть седого пепла,
Несутся по ветру и тают, словно дым.

Все разве кончено? Все было мимолетно?
Печаль бесплодная мне счастья не вернет.
Я плачу, а листва лепечет беззаботно,
Мой дом покинутый меня не узнает.

Пройдут другие там, где мы бродили ранее,
Настал других черед, а нам не суждено.
Наш вдохновенный сон, и мысли, и желанья
Дано продолжить им, но кончить не дано.

Для каждого из нас настанет пробужденье,
Пред бесконечностью все смертные равны,
Мы просыпаемся, не кончив сновиденья,
Но кто-нибудь потом увидит те же сны.

Да, очередь других. Они под эти своды
Шатра зеленого, как мы, придут не раз
Искать в лесной глуши сочувствия природы,
Приюта для любви, таящейся от глаз.

Все будет для других — луга, тропинки в чаще,
Твой лес, любимая, — теперь он для других,
Другие женщины придут к воде журчащей,
Которая тогда касалась ног твоих.

Не может быть! Чтоб так прошло бесследно счастье!
Долины мирные для нас не сберегли
Ни нашей нежности, ни страсти. Без участия
Природа стерла все с поверхности земли.

Скажите мне, поля, ручьи, лесные склоны,
Деревья с гнездами среди густой листвы,
Ужели для других ваш шепот благосклонный
И песнь заветную другим поете вы?

Мы так доверчиво, с таким благоговеньем
Старались разгадать таинственный язык,

Всем вашим голосам и вашим откровеньям
Наш жадный слух внимать восторженно привык.

Ответь, цветущий дол, где некогда мы двое
Скрывались от тревог, ответь, тенистый сад!
Когда мы с ней уснем в торжественном покое,
Как только мертвецы в могиле тесной спят.

О, неужели вы спокойно и беспечно
Услышите, что мы исчезли без следа,
И будете справлять свой праздник бесконечно,
И ликовать всегда, и песни петь всегда?

И разве, увидав наш призрак, неизменно
Блуждающий среди гор, равнин или полей,
Вы нам не скажете той тайны сокровенной,
Которую хранят для избранных друзей?

Вы разве сможете без горьких сожалений
Встречать нас мертвыми в долине прежних грез,
Без жалобы смотреть, как гробовые тени
Влекутся к бездне той, где скрыт источник слез?

И если где-нибудь под вашей кровлей пышной
Влюбленные таят свой вдохновенный пыл,
Шепните ли вы им, хотя бы еле слышно:
«Живые, вспомните о тех, кто прежде был».

Но время краткое дарует нам природа
Леса шумящие, долины и холмы,
Ручьи и золото в лазури небосвода —
Все, что так дорого, все, что так любим мы!

Потом конец всему, и нашей страсти тоже,
Угас огонь в душе, и снова ночь темна,
В краю покинутом, который всех дороже,
Сотрутся без следа и наши имена.

Ну что ж, забудьте нас, и дом, и сад, и поле, —
Пусть зарастет травой покинутый порог,
Журчите, родники, и птицы, пойте вволю, —
Вы можете забыть, но я забыть не мог!

Вы образ прошлого, любви воспоминанья,
Оазис для того, кто шел издалека.
Здесь мы делили с ней и слезы и признанья,
И здесь в моей руке была ее рука...»

Все страсти с возрастом уходят неизбежно.
Иная с маскою, а та сжимая нож —
Как пестрая толпа актеров безмятежно
Уходит с песнями, их больше не вернуть.

Но над тобой, любовь, бессильно даже время:
Как факел пламенный, ты светишь сквозь туман,
Мы в старости твое благословляем бремя
И часто в юности твоих страшимся ран.

Когда на склоне лет бесцветной вереницей
Влачатся наши дни, беспечны и пусты,
И сердце, охладев, становится гробницей,
Где похоронены стремленья и мечты;

Когда душа скорбит наедине с собою
И в темной глубине ей явственно видны,
Как трупы воинов на страшном поле боя,
Надежды павшие, несбывшиеся сны, —

Тогда любовь, как тот, кто в поисках уверен
Со светочем в руке обходит все углы,
Спускается туда, где в недрах бездны черной
Отчаянье и скорбь таятся среди мглы.

И вот в глухой ночи без проблеска дневного,
В могильной тишине, под кровом темноты
Душа вдруг чувствует — ты оживаешь снова,
Воспоминание, — как сердце, — бьешься ты.

OCEANO NOX¹*

Вас сколько, моряки, вас сколько, капитаны,
Что плыли весло в неведомые страны,
В тех даях голубых осталось навсегда!
Исчезло сколько вас — жестокий, грустный жребий!
В бездонной глубине, при беспросветном небе,
Навек вас погребла незрячая вода!

Как часто путь назад не мог найти к отчизне
Весь экипаж судна! Страницы многих жизней
Шторм вырывал и их бросал по волнам вмиг!
Вовек нам не узнать судьбы их в мгле туманной.
Но каждая волна неслась с добычей странной:
Матроса та влекла, а та — разбитый бриг.

И никому не знать, что случилось с вашим телом,
Несчастные! Оно, по сумрачным пределам
Влачась, черепом о грани камней бьет.
А сколько умерло, единой грезой живших,
Отцов и матерей, часами стороживших
На берегу возврат того, кто не придет!

Порой по вечерам ведут о вас беседы,
Присев на якорях, и юноши и деды
И ваши имена опять твердят, смешав
Со смехом, с песнями, с рассказами о шквале
И с поцелуем тех, кого не целовали, —
Тогда как спите вы в лесу подводных трав.

Мечтают: «Где они? На острове безвестном,
Быть может, царствуют, расставшись с кругом тесным

¹ (Встает) с океана ночь (лат.).

Карающие песни

1853

Для лучших стран?» Потом — и имена в туман
Уходят, как тела ушли на дно бесследно,
И Время стелет тень над вашей тенью бледной —
Забвенье темное на темный океан.

Вас забывают все — с тем, чтоб не вспомнить снова:
Свой плуг есть у того, свой чели есть у другого!
И только в ночь, когда шторм правит торжество,
Порой еще твердит о вас вдова седая,
Устав вас ожидать и пепел разгребая
Пустого очага и сердца своего.

Когда и у нее закроет смерть ресницы,
Вас некому назвать! — ни камню у гробницы
На узком кладбище, пугающем мечту,
Ни иве, что листья роиет над могилой,
Ни даже песенке, наивной и унылой,
Что нищий пропоет на сторбленном мосту!

Где все, погибшие под голос непогоды?
О, много горестных у вас рассказов, воды
(Им внемлют матери, колена преклонив!),
Их вы поете нам, взнося свой вал мятежный, —
И потому у вас все песни безнадежны,
Когда вы катите к нам вечером прилив!





УБИТЫМ 4 ДЕКАБРЯ *

Итак, всем вам покой дарован властелином...
Еще недавно нас полетом соколиным
Манили вдалеку мечты...

Любовь и ненависть и вам, простые люди,
Воспламеняли кровь... Дышали вольно груди,
Кричали громко рты.

Друг друга знали вы навряд ли... Ваши лица
Мелькали в полумгле на улицах столицы,
Где бьет людской прибой.
Куда-то вас влекли вздымавшиеся волны...
Но были вы одной и той же душой полны,
Дорогой шли одной.

Пылающий ваш мозг стремился к тайной цели...
Быть может, Тюильри разрушить вы хотели,
Быть может — Ватикан*.
Свободомыслию вы возглашали: слава!
Ведь в пламенный наш век душа любая — лава,
Любой народ — вулкан.

Любили вы... И боль и грусть владели вами.
Порою вам сердца сжимала как клещами
Неясная тоска.
Под натиском страстей, их яростного шквала,
Душа, как океан, порою бушевала,
Бездонно глубока.

О, кто б вы ни были: отважны, безрассудны
И юны, иль, пока вы шли дорогой трудной,

Согнула вас судьба,

Несла ли вам она надежду, радость, горе, —
Вы знали вихрь любви, вы знали скорби море,

Покуда шла борьба.

Убиты в декабре, безмолвны, недвижны,

Во рву лежите вы, ничем уж не томины,

Прикрытые землей.

Уже растет трава над вами... Крепче спите

В могилах, мертвые! В гробах своих молчите!

Империю — покой*.

ВОСПОМИНАНИЕ О НОЧИ 4 ДЕКАБРЯ*

Две пули в голову ребенка угодили.

Был скромен мирный дом, где люди честно жили,

Из рамки на стене смотрел на нас Христос.

Нас бабка встретила потоком горьких слез.

В молчанье горестном ребенка мы раздели.

Был бледен рот его, глаза остекленели;

Ручонки свесились, как сложенный цветок.

В кармане мы нашли некрашенный волчок.

Персты могли бы вы вложить в отверстие раны;

Так терн раздавленный багрит кусты поляны.

Был череп мальчика расколот пополам,

И бабка старая, вздохнув, сказала нам:

«Как бледен он, увы! Приблизьте лампу. Боже!

Волосики в крови и так присохли к коже!»

Ребенка мертвого она у нас взяла.

Сгустилась за окном злобещей ночи мгла.

Гремели выстрелы. Там снова убивали.

«Поможем саван шить», — товарищи сказали,

И в дедовском шкафу мы взяли простыню.

Старуха поднесла меж тем дитя к огню,

Как будто бы согреть холодный труп желая.

Но то, что тронула десница ледяная,

Не в силах отогреть людские камельки.

Старуха бережно сняла с него чулки

И, ножки мальчика в свои схвативши руки,

Вдруг закричала нам: «За что такие муки?

О люди добрые! Ему семь лет всего!

Он школу посещал. Хвалили все его.

Понадобилось мне на днях писать прошение,

И мальчик мне помог. Кто дал им разрешение

Расстреливать детей? Помилуй, боже, нас!

Иль палачи они? Я спрашиваю вас!

Он утром здесь играл у моего окошка.
За что же убивать его, такую крошку?
Он нашу улиду как раз перебежал,
Они, прицелившись, убили наповал.
Он мал, а я стара, в гробу одной ногою.
Пусть этот Бонапарт покончил бы со мною;
Но на моих глазах убить ребенка вдруг!...
Внезапно у нее перехватило дух.
Мы тоже плакали, на слезы глядя эти.
А бабушка молвила: «Зачем мне жить на свете?
Он после дочери был у меня одини.
Так объясните мне, мой добрый господин:
За что же он убит, мой маленький внучонок?
«Ура, республика!» — он не кричал, ребенок!»
И, головы склоня, молчали мы в ответ
Пред этой горестью, где утешенья нет.

Так, матушка, у нас в политике ведется,
Ведь этот Бонапарт — он вправду так зовется —
Деньгами небогат, но принц, и потому
Жить хочет во дворце, и золото ему
Потребно на пиры, на карты, на забавы.
Хотел бы он прослыть спасителем державы,
Хранящим честь семьи, и церковь, и закон.
Средь розовых куртин в Сен-Клу* желает он
Префектов с мэрами вкушать хвалы пустые, —
И вот поэтому прамамери седые
Рукой трясущейся и сморщенной, как трут,
Внучатам маленьким могильный саван шьют.

* * *

Кто борется — живет, и жизнью полон тот,
Кто твердый замысел в своей душе несет,
Кто яростной судьбы одолевает пикни,
Кто, видя цель свою, свершает путь великий
И ведает одно: его усилей ждут
Могучая любовь и благородный труд.
Пророк, молящийся ковчегу дни и ночи,
Пастух и патриарх, селянин и рабочий,
Те, чьи сердца нашли добро в трудах дневных,
Живут, о господи! И жаль мне остальных:
Лишь мертвенная лень — им вспомоществованьс.
Да разве это жизнь! Одно существованьс.
Они в забвении, без пользы, в забытии,
В унылом сумраке проводят дни свои.
И этот плебс, толпа, орда безмозглой черни
Умеет лишь вопить, зевать ежевечерие,
В ладоши бить, свистеть, злословить без конца.
Нет имени у них, и нет у них лица.
И судят, и рядят — все знают эти звери,
По праву им Марат и по душе Тиберий*.
Рыдая, веселясь, кумирам глядя в рот,
К бездонной пропасти прет бесшабашный сброд.
Не знающий родства и возраста прохожий,
Сброд, рыхлостью своей на облако похожий, —
Не выслушан нигде, не ведом никому,
Желанья и слова роняет он во тьму,
И мрак сопутствует его бесцветным будням,
И тьму кромешнюю считает он полуднем —
Ведь, мельтеша, крича, шумя всю жизнь свою,
Всленую бродит сброд у ночи на краю.

Как? Быть бездельником, во мраке жизнь проводившим?
Грядущего не ждать, не помнить о прошедшем?

Как? Не любить? Вперед в неведение идти?
Юпитера пресреть и Ягве отместить? *
На женщину, цветок, звезду смотреть с ухмылкой?
И к плоти вожделеть, души не зная пылкой?
Иметь пустую цель и рвение под стать?
Ввысь не заглядывать? И смерть не почитать?
О нет, я не из тех! От гордых и могучих,
Цветущих во дворцах и в логовах вонючих,
Бегу. Их города распространяют смрад.
Букашки городов, я буду только рад
Быть черною, парней, жестокосердья пищей,
Толпой — но не душой на вашем толковище!

ПОЛИНА РОЛАН*

Ни зла, ни гордости не ведала она.
Она любила лишь — ясна, проста, бедна.
Ей хлеба на обед порою не хватало.
Имев трех детей, она себя считала
И матерью для всех, пришибленных судьбой.
Десянья черные, что мрак хранит ночной,
Подъем и спад пучин, что рвутся, пасть разинув,
Пигмен, что подкоп ведут под исполинов, —
Все силы зла, каким порой названья нет,
Не страшны были ей. За мглою зла и бед
Светился ей творец, строитель дня иного,
И вера юною в ней воскресала снова.
Свободы факелы стремясь раздуть сильней,
Она тревожилась за женщин и детей
И шла к трудящимся, их ободряя в горе:
«Жизнь тяжела теперь, но станет лучше вскоре;
Вперед же!» И она уверенно несла
Надежду всем. Она апостольшей была
И вместе — матерью таких нам тоже надо,
Чтоб кротче нас учить среди земного ада.
Ей самый мрачный ум доверчиво внимал;
Заботливая, шла она в любой подвал,
Где нищета жила средь голода и дрожи:
Больные, старики на их убогом ложе
И безработные с утрюмой их тоской.
Чуть при деньгах, она широкою рукой
Несла их беднякам, как бы сестра родная;
А без гроша сама, — шла, сердце отдавая.
Любовь — как солнцу блеск — была ей врождена;
Считала род людской своей семьей она
И человечеством своих детей считала.

Она прогресс, любовь и братство возглашала.
Страдающих зовя в сияющий простор!

За преступленьями такими — приговор.
Спаситель общества, и церкви, и порядка*
Ее в тюрьму швырнул. Но пить ей было сладко
Желчь с губки*; был ответ улыбкой тихой дан.
Пять месяцев прошло: грязь, полумрак, туман;
Тюремщики; порок, дерущий смехом глотку;
Хлеб черный, что швырком летит через решетку;
Забывость... И она добру учила зло —
И воровство и блуд внимали ей светло.
Пять месяцев... Затем солдат (не удостою
Назвать его) пришел с дилеммою такою:
«Признайте новый строй — и выйдете на свет
(От веры отступая); не то пощады нет:
Ламбесса!* Выбор — ваш». И был ответ: «Ламбесса».
Назавтра, скрежеща, железная завеса
Ворот раздвинулась; фургон вкатил на двор.
«Вот и Ламбесса...» Был спокоен светлый взор.
В тюрьме той многие томились беззаконно —
Борцы за право... Всех не втиснешь в гроб фургона,
В ячейки мерские не всех бойцов вместишь;
И женщин повели пешком через Париж;
Шли кучкой тесною в кольце тюремной стражи.
Вели хоть не воров и не убийц, но та же
Из полицейских уст хлестала брань по ним.
Порой прохожие, смущенные таким
Нечастым зрелищем, — что женщин гонят стадом, —
Приблизясь, пристальным их обводили взглядом;
Кривой усмешкой страж давал зевакам знак,
И расходились те, ворча: «Ах, девки! Так».
Полина ж уницам шептала: «Тверже, сестры!»
И хриплый океан, от волн и пены пестрый,

Умчал их. Труден был и долог переход;
Был черен горизонт, и ветер — точно лед;
Ни друга воле них, ни голоса в ответ им.
Они дрожали. Дождь пришлось им, неотчетым,
Терпеть на палубе, не спать, встречая шквал.
«Бодрей, бодрей!» — призыв Полины им звучал;
И плакали порой, глядя на них, матросы.
Вот берег Африки. Ужасные утесы,
Песок, пустыня, зной, и небо точно медь;
Там ни ключам не бить, ни листьям не шуметь.
Да, берег Африки, что страшен самым смелым,
Земля, где чувствуешь себя осиротелым,
Забутым родиной вдали от глаз ее.
Полина, затаив отчаянье свое,
Твердила плачущим: «Приехали! Бодрей!»
И плакала потом — одна, с тоской своею.
Где трое маленьких? О, мука свыше сил!..
Несчастной матери тюремщик предложил
Однажды — в крепости с подземным казематом:
«На волю хочется, домой, к своим ребятам?
Просите милости у принца». Но, тверда,
Страдалица ему сказала: «Никогда!
Я мертвой к ним вернусь». И, мстя душевной силе,
Всю злобу палачи на женщину излили!..
О, тюрьмы Африки! Нам вскрыл их Рибейроль*:
А, для которого и слов не сыщется боль!
И женщину и мать, бессильную, больную,
Швырнули в этот ад, в пещеру гробовую!
Кровать походная, зной, холод, сухари,
Днем солнце, ночью зуд: москиты до зари,
Замки, сверхсильный труд, обиды, оскорбления —
Ничем не смять ее! Твердит она: «Терпенье!
Сократ ведь и Христос — терпели»*. Ей пришлось
По той скупой земле мотаться вдоль и вкось;

Хоть небо знойное дышать ей не давало,
 Как будто каторжник, она пешком шагала.
 Озноб ее трепал; худа, бледна, мрачна,
 В солону сгнившую валялась спать она,
 К забитой Франции взывая в час полночный.
 Потом ее в подвал швырили одиночный.
 Болезнь ей грызла жизнь, но в душу мощь лила.
 Суровая, она твердила: «В царстве зла,
 Лакейства, трусости — какой пример народу,
 Коль женщина умрет за право и свободу!»
 Услышав хрип ее, держать боясь ответ,
 Струхнули палачи (не устыдились, нет!).
 Декабрьский властелин * ей сократил изгнание:
 «Пусть возвращается — тут испустить дыханье».
 Сознания не было; ум светлый изнемог.
 В Лане смертный час настал. Ее зрачок
 Погас и потускнел — как ночь, когда без силы
 Дотлеют факелы. Неспешно тень могилы
 Холодной пеленой легла на бледный лик.
 К ней старший сын тогда, чтобы в последний миг
 Поймать хоть вздох ее, хоть взор ее беззвездный,
 Примчался... Бедная! Он прибыл слишком поздно.
 Она была мертва: убита сменой мук;
 Мертва — не ведая, что Франция вокруг,
 Что небо родины над нею — в теплом свете;
 Мертва — предсмертный бред заполнив криком:

«Дети!»

И гроб ее никто не смел почтить слезой
 На погребении.
 Теперь, прелаты, в строй!
 Сверкайте митрами в церковной тьме, ликуйте
 И славословием в лицо господие плывите!

НАРОДУ

Безмерный океан с тобою схож, народ!
 И кротким может быть и грозным облик вод;
 В нем есть величие покоя и движенья;
 Его смиряет луч и выблет дуновение;
 Он — то гармония, то хриплый рев и гром;
 Чудовища живут в раздолье голубом;
 В нем созревает смерч; в нем тайные пучины,
 Откуда и смельчак не выплыл ни единый;
 На нем как щепочка любой колосс земли;
 Как ты — насильников, крушит он корабли;
 Как разум над тобой, над ним маяк сверкает;
 Он — бог весть почему — то губит, то ласкает;
 Его прибой — на слух как будто стук мечей —
 Зловещим грохотом звучит во тьме ночей,
 И мнится, океан, — как ты, людское море, —
 Сегодня зарывав, все разворотит вскоре,
 Меча на берег вал, как бы металла меча;
 Он Афродите гимн поет, ей вслед плещет;
 Его огромный диск, его лазурь густая
 Полночных звезд полины, как зеркало блистая;
 В нем сила грубая, но нежность в ней сквозит;
 Он, расколов утес, травинку пощадит;
 Как ты, к вершинам он порою пеной прыгает;
 Но он — заметь, народ! — вовеки не обманет
 Того, кто с берега, задумчив и пытлив,
 Глядит в него и ждет, чтоб начался прилив.

Гремите ночь и день, о трубы мысли гневной!*

Когда Иисус Навин, мечтатель, в зной полдневный
Вкруг вражьей крепости народ свой вел, пророк,
Ему предшествовал трубящий грозно рог.
Раз обошли, и царь согнул от смеха спину;
Еще обход, и он велел сказать Навину:
«Ты, что же, думаешь мой город ветром сдуть?»
При третьем шествии возглавлял трудный путь
И трубам и бойцам святой ковчег Завета, —
И дети малые сошлись плевать на это,
В свистульки детские насмешливо свистя.
К четвертому — пришли, уборами блестя,
И сели женщины меж древними зубцами,
Крутя веретено проворными руками,
Швыряя камешки в Ароновых сынов*.
На пятом шествии со стен раздался рев
Беаногих и слепых, желавших рог упорный
Послушать со стены, с ее громады черной.
Шестой замкнулся круг, и на крутой гранит
Столпа дозорного, что с громом говорит
И гнезда орлины таит среди карнизов,
Царь вышел, хохоча, и кинул сверху вызов:
«Евреи, вижу я, лишие трубачи!»
И старцы вокруг него смеялись, как сычи:
Вчера трусливые, они спокойны ныне.

Седьмой сомкнулся круг — и рухнули твердыни.





★ ★ ★

Поэту надлежит, любя лазурь и тень,
Душою трепетной, сияющей как день,
Всех за собой ведя, гоня от всех сомненья, —
Певцу чудесному, чье жаждут слышать пенье
Мечтатель, женщина, любовник и мудрец, —
Быть яростным подчас и грозным наконец.
Когда порой мечтать над книгой вам случится,
В которой все пьянит, ласкает и лучится,
В которой для души найдется всюду мед
И каждый уголок синие неба шлет;
Среди поэзии высокой и смиренной,
В священной тишине, где взрос цветок бесценный,
Где слышно, как текут ручьи воды и слез,
Где строфы птицами с окраской пестрой грез
Летают и поют любовь и упование, —
Вам должно иногда познавать и содроганье,
Вдруг увидав, как, дик и страшен для живых,
Из мрака хищником выходит грозный стих.
Поэту надлежит, с его посевом щедрым,
Подобным быть лесов зеленым, чудным недрам,
Любимым птицами, лучами, ветерком,
Прелестным, — где вы вдруг встретитесь со львом.

НАДПИСЬ НА ТОМЕ
«БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ *

Однажды, в сумерках вечерних, на дороге
Я встретил путника в широкой римской тоге.
Он был похож на тень в закатном свете дня.
Замедлив гордый шаг, прохожий на меня
Взглянул, и молнией его сверкнуло око.
Он тихо вымолвил: «Я был горой высокой
И небо затмевал в дни древности седой.
Оковы сна сорвав с души своей слепой,
По лестнице существ я на ступень поднялся
И превратился в дуб. Народ мне поклонялся,
И шелестом глухим я тишину будил.
Потом в песках пустынь я долго львом бродил,
И мне внимала ночь, и мне внимали звери.
Теперь я — человек, я — Данте Алигьери».

Земли иссохшая, неласковая грудь,
Где люди трудятся, не смея отдохнуть,
Чтобы потом за труд, безрадостный до боли,
Хлеб получить взамен, насущный хлеб, не боле...
Питомец скудных нив — жестокий человек;
Мир, братство и любовь покинули навек
Его селения, чтобы уйти в пустыни;
Гордыня богачей, отверженных гордыня;
Тупая ненависть в сердцах людей царит;
Безглазый призрак — смерть — все лучшее разит;
Вершины гордых гор туманной мглой повиты;
Честь, правосудие поруганы, забыты;
Бушует в мире зло — дитя слепых страстей;
Скрывают хищников леса в глуши своей;
Здесь — льды бесплодные, там — выжженные
страны;

Неодолимый гнев колеблет океаны,
И гибнут корабли в бездонной глубине;
На всех материках, — в крови, в дыму, в огне, —
Вадимая факелы, война, как зверь, ярится,
И вечно чей-то кров пылает и дымится,
И всюду бой кипит — в полях, в горах, в лесах...
И все это слывет светилом в небесах!

НА ДЮНЕ

* * *

Живешь, беседуешь, на облаказираешь,
Порою Данте и Вергилиячитаешь,
Садисься иногда в наемный экипаж
И едешь за город, где воздух и пейзаж
Тебя в хорошее приводитнастроенье;
Случайный женский взгляд в душе твоей волнение
Рождает; пеные птиц тебя влечет в поля;
Ты любишь, ты любим... Счастливей короля
Ты просыпаешься, ты окружен семьею,
Тебя целует мать, ты говоришь с сестрою,
За утренним столом тебя газеты ждут;
Твой наполняют день любовь, надежды, труд;
Бушует жизнь вокруг, тебя порою рая,
Бросаешь ты слова в бурлящее собрание;
Пред целью избранной, перед судьбой своей
Ты мал и ты велик, ты слаб и всех сильнее,
Ты повелитель бурь, волна в житейском море,
И все меняется, и радость ждет и горе,
Ты падаешь, встаешь, упорствуя в борьбе...
А после тишина: приходит смерть к тебе.

Сейчас, когда свечой мой догорает век
И кончены труды и силы;
Когда утратами, годами жизни бег
Меня привел на край могилы;
И в глубине небес, где я парить мечтал,
Я вижу столько уносимых —
Как бы прошедшего летящий шквал —
Часов, вовек невозвратимых;

Когда я говорю: «Что мнится торжеством,
То завтра станет заблуждением!» —
Печальный, берегом бреду, клонясь челом,
Как тот, кто предан размышленьям.

Смотрю — над долами, вершинами холмов,
Над сменой волн морского лона
Уносится руно густое облаков
Под хищным клювом аквилона*;

Я слышу всплески волн, на рифах ветра шум,
В руках жнеца колосьев трепет;
И с говором людей мой сравнивает ум
Невнятный этот ропот, лепет.

На редких травах дюн я остаюсь подчас
Лежать подолгу, не вставая,
До той поры, когда луна злоеший глаз
Покажет вдалеке, мечтая.

Вставая, сонный луч она бросает свой
Пространству, тайне, вод пучине,
И друг на друга мы глядим вдвоем с луной,
Она — в сиянье, я — в кручине.

Куда же отошла гряда минувших дней?
 Есть кто-нибудь, кто знал меня бы?
 В померкнувших глазах от юности моей
 Остался ли хоть отблеск слабый?

 Ужели все ушло? Я одинок, устал;
 Зову — ответом мне молчанье.
 О, ветры! О, валы! И я не тот же ль вал?
 Не то же ль ветра я дыханье?

 Мне больше не видать того, что я любил!
 Уж меркнет день во мне уныло.
 Земля, чьих гор верхи туман от взоров скрыл,
 Я призрак разве, ты — могила?

 До дна ль исчерпаны надежда, жизнь, любовь?
 Я вопрошаю, мучим жаждой;
 Вновь наклоняю я все урны, чтобы вновь
 Хоть каплю получить от каждой.

 Воспоминанье, как раскаянье, извнит!
 Во всем — лишь слезы и потери!
 Коснувшихся тебя твой холод леденит,
 О смерть, запор последней двери!

 И, размышляя так, я слышу, как кругом
 Стенают ветер и буруны;
 Смеется летний день; на берегу морском
 Цветет волчец песчаной дюны.

ИВО¹

Скажите, Истины святые,
 Зачем во тьму,
 В бездонность, в небеса пустые,
 Где никому

 Вас не достичь за медью грозной,
 Зачем навек
 Укрылись вы под саван звездный,
 И человек

 Не видит вашего всесилья?
 Он слеп, увы! —
 О том, что у меня есть крылья,
 Забыли вы!

 Зачем таитесь в темном храме
 От жадных глаз,
 Непостижимыми дарами
 Смущая нас?

 О Справедливость, негодую
 На злобный мир,
 К тебе в конце концов приду я:
 Ты — мой кумир!

 О Красота, лишь разум живой
 К величию глух!
 Тобой сердца людские живы
 И крепок дух.

¹ Я приду (лат.).

И ты, Любовь, горжусь тобою,
Боготворя,
Так над пустыней голубою
Встает заря!

Во мне грядущей Правды эра
Зажгла звезду,
Свобода, Равенство и Вера,
Я к вам приду.

В сиянье вашем я исчезну,
В огне зарниц,
Вы светом населили бездну,
Где нет границ.

Душа, вовек мы не робели
Небытия!
Я птица — к небу с колыбели
Приучен я.

Я птица, я дышу любовью,
Я безднам рад,
Святому Марку к изголовью*
Слетал мой брат.

Амосу подсказал он ночью
Молитв слова,
И видел крылья тот воочью
И гриву льва.

Крылатый лев, высот безбрежных
Я не боюсь,
Парю в пространствах безмятежных,
С грозой боюсь.

Взбираюсь по крутым ступеням
И не пойму,
Когда мы свет познания сменим
На ночь и тьму?

Душе возвышенной нет дела,
Что ночь черна, —
До векового предела
Дойдет она.

Душе возвышенной неведом
Покорный страх,
Когда за ангелами следом,
Отринув прах,

Она летит к подножьям синим
Святых колонн,
Мы мост нешаткий перекинем
На небосклон!

Но кто сказал, что власть господия
Других святых?
Адам — любой из нас сегодня
И Прометей!

Украсть огонь должны мы вечный
У злых небес —
Загадкам тьмы бесчеловечной
В противовес.

Под кровом хижины непрочной
В когтях знымы
Светильник Правды беспорочной
Затеplим мы.

С полночной мглой давно не споря,
Труслив и слаб,
Ярмом невежества и горя
Придавлен раб.

Народ мой, выпрямись победно
И цепь порви!
Повелевает жить безбедно
Закон Любви.

Покончив с безрассветной зрой,
Счастливый луч
Грядет уже сквозь сумрак серый
Свинцовых туч.

Пусть каждую судьбу земную
Писал Господь,
Я к этой тайне не ревную:
Я — дух и плоть.

Я — суть ее, и нет другого
Закона мне!
Прими мой вызов, Иегоа,
В голубизне!

Я стихотворец злой и грубый,
Мой долг греметь,
Пока гремят страданий трубы,
Язык мой — медь!

На все четыре части света,
На сто ветров
Обрушен гордый гнев поэта
Железом строф.

Как надоедливую ношу,
Крылатый бес,
Комету за волосы брошу
Во тьму небес.

О чистый пламеник, к тебе я
Когда-нибудь,
Как древний звездочет, робея,
Отправляюсь в путь:

Мне тайн запретных ненавистен
Тюремный свод —
Войду к подножью светлых Истин
По глади вод.

Взберусь по лунному отвесу
В седую тьму,
Над Нензведанным завесу
Приподыму.

Читая лучшую из библий,
Пронзив лазурь,
Достигну бездны, где погибли
Разряды бурь.

Врата небес открыть не поздно
Надежд ключу,
И если гром залает грозно —
Я зарычу.

ЕДИНСТВО

Там, на краю небес, за темными холмами,
Шар солнца, как цветок с лучами-лепестками,
В закатной красоте склонялся над землей.
А где-то средь полей, над сложенной стеной,
Где травы разрослись и плещ темно-зеленый,
Ромашка белая раскинулась короной.
И маленький цветок на рухнувшей стене
Смотрел, как перед ним в лазурной вышине
Сияло вечное, прекрасное светило.
«И у меня луча», — ромашка говорила.

КОГДА ПРОСВЕТАЕТ

Сверкает океан под дынным покрывалом.
Еще недавно он, вздымая вал за валом,
Боролся, бушевал — и одолел врага.
Чисты, как поцелуй, омыты берега.
Отныне жизнь и свет владычить будут в мире,
Развевя ненависть по пробужденной шире,
Умершие к живым вызывают из могил:
«Любите, радуйтесь! Навек вас полюбил
Простор, вселенскою душой обожествленный,
Сквозь сумрак губы вам подставил он, влюбленный!»
Тысячегрудое простерлось существо,
В морщины, в борозды, в сердечный жар его
Ложатся семена возвышенного сева,
Кругом разлит покой — ни зависти, ни гнева!
В дорожной трещине трепещет стебелек,
Вот-вот проклюнутся птенцы, и недалек
Широколиственный призыв поры рассветной.
В неясный этот час нам слышится приветный,
Трудолюбивый гам проснувшихся людей,
И дробный стук копыт, и ржанье лошадей,
И скрип дверных петель, и первый шум рабочий,
И бегство ветерка от бессловесной ночи.
Воробушек спует, смешной отваги полн,
У ласковых на вид, немощных воли;
Кружится мошкара, с орлом играет пена,
За плутом труженик шагает и степенно
Для будущих, ржанных поэм линует лист;
Там запах от костра рыбацкого смолист,
Там сновидение спящей стало зыбью,
Там перья облаков цепляются за рыбью
Густую чешую прибрежных бурунов,
Там золотистый луч высок и вечно нов:

С порога дома он скользя по колыбели,
Коснулся матери — и вмиг поглубели
Поля, и океан, и придорожный крест!
До самых мрачных бездн, до сокровенных мест
Добрался сын зари, светясь на дне глубоком.
Спокойна, счастлива векая. Под божьим оком.

Легенда веков

1859—1883





СОВЕСТЬ*

Собрав всклокоченных детей, одетых в шкуры,
Сквозь бурю и грозу, косматый и понурый,
Брел Каин, трепеща пред гневом Иеговы.
Когда спустилась ночь на скалы и на рвы,
Остановился он над пропастью у края.
Жена и сынонья, без сил, немощная,
Сказали: «Ляжем здесь на землю и уснем».
Он не уснул: сидел и думал об одном.
Вдруг, голову подняв, раскрытое широко
Он в небе гробовом, во тьме, увидел око.
Что ворко на него глядело между скал.
«Мы мало отошли», — он, задрожав, сказал.
И, растолкав детей, подняв жену седую,
Он вновь пустился в путь сквозь темноту ночную.
Бежал он тридцать дней и столько же ночей,
Без сна, без отдыха, гоня жену, детей,
Не смея посмотреть назад, дрожа от шума,
Таясь и крадучись. И вот пред ним угрюмо
Простерся океан. Промолвил Каин: «Тут
Мы остановимся: тут мы найдем приют;
Здесь край земли; ничьей мы здесь не встретим

мест».

Присев, он увидал опять, на том же месте,
Все тот же воркий глаз в суровых небесах.
И черным трепетом в него ударил страх.

«О! Спрячьте же меня!» — он завопил. И дети
Глядят: отец дрожит, как зверь, попавший в сети.
Он крикнул Явелью, отцу племен степных,
Что меж песков живут в палатках шерстяных:
«Здесь, с этой стороны, меня прикрой палаткой!»
И дети облекли его стеною шаткой,
Прижав ее концы камнями и свинцом.
«Теперь исчезло все?» — склонясь к нему лицом,
Спросила Цилла. «Нет! — ответил он сурово
Прекрасной внучке. — Нет! Меня он мучит снова!»
Ювал, отец племен, живущих в городах,
Придумавших игру на гуслях и рожках,
Сказал: «Я за стеной его укрыть сумею».
И стену медную воздвигли, и за нею
Лег Каин и сказал: «Он все-таки глядит!»
Сказал Енох: «Тогда возьмемся за гранит,
И город выстроим в кольце высоких башен,
Чтоб всех отпугинал, чтоб черен был и страшен,
Построим цитадель, закрыв навеки вход».
Отец всех кузнецов, сам Тувалкани, — тот
Построил гровиный град, чудовищный, громадный.
Пока работал он, другие братья жадно
Ловили всех, кого родил Енос или Сиф,
И отпускали их живыми, ослепив;
И стрелы по ночам пускали в купол звездный.
И город стал похож на город адской бездны:
Вамен степных шатров сложен гранитный склеп,
И глыбы связаны кольцом железных скреп;
От тени черных стен ночь залегла в просторы;
Строй башен поднялся, огромных, точно горы;
И надпись выбили: «Для бога вход закрыт».
Когда закончили крепление глыб и плит,
Был Каин помещен средь келии гранитной,
Но дик был вид его. «Исчез ли ненасытный

Тот глаз?» — спросила дочь, припав к его ногам.
И Каин отвечал: «Нет, он все время там!»
Потом он стал кричать: «Копайте подземелье!
Укрыться я хочу навек в подаемной келье!
Незримым стать для всех и видеть только ирак!»
И яму вырыли, и Каин подал знак,
Что рад он, и его в провал спустили темный.
Когда ж простерся он, косматый и огромный,
И каменный затвор над входом загремел,
Глаз был в могиле той и на него глядел.

*

Усталый, лег Вооз у своего гумна.
Весь день работали, и он трудился тоже,
Потом обычное себе устроил ложе
У вымеренных куч отборного зерна.

Немало ячменя собрал он и пшеницы,
Но жил как праведник, хотя и был богат;
И в горнах у него не распался ад,
И грязи не было в воде его криницы.

Серебряным ручьем струилась борода
У старца щедрого. Коль нищенка, бывало,
Упавшие с возов колосья подбирала,
«Побольше сбросьте ей», — он говорил тогда.

Не знал кривых путей и мелочных расчетов,
Одетый в белое, как правда, полотно.
Для бедных доброе текло его зерно,
Как из открытых всем, из общих водометов.

Любил родню и слуг, работал на земле,
Копя, чтоб отдавать, хозяин бережливый.
А жены думали: «Пусть юноши красивы —
Величье дивное у старца на челе».

Тот возвращается к первичному истоку,
Кто в вечность устремлен от преходящих дней.
Горит огонь в очах у молодых людей,
Но льется ровный свет из старческого ока.

*

Итак, Вооз лежал у своего гумна.
Окончен страдный день — и в сладостной истоме
Вокруг него жнецы заснули на соломе...
То было в давние, иные времена.

Иарань жил в шатрах, согласно выбирая
Судью для всех племен. Земля, еще храня
Следы каких-то ног чудовищных, со дня,
Как миновал потоп, была совсем сырая.

*

И как Иаков спал, и как Юдифь спала,
Так ныне спал Вооз. И над скирдами хлеба
Чуть приоткрылась дверь раскинутого неба,
Чтоб греза странная на спящего сошла.

Увидел он, дивясь, как у него из чрева
Потомков длинный ряд — огромный дуб восстал.
И некий царь вещал внизу под сенью древа,
И некий бог вверх у мученых умирал*.

Но голосом души в смятенье и в испуге
Вооз шептал: «Увы! Обманчив сонный бред.
Я прожил более восьмидесяти лет
И сына не имел; и нет моей подруги.

От ложа мужнего ты взял се, творец,
И на твоём она теперь почнет ложе.
Но, разлученные, мы с нею слиты все же:
Она во мне жива, а я почти мертвец».

Потомство от меня? Ужель поверю бреду?
С мечтой о сыновьях проститься мне пора.
Да, юность нам дарит чудесные утра,
Из ночи день истает и празднует победу.

Но вот я одинок, мой вечер подошел,
И, старец, я дрожу, как зимняя береза.
К могиле клонится теперь душа Вооза,
Как тянется к ручью на водопое вол».

Так говорил Вооз, и в небосвод полночный
Незрячий взор его был смутно устремлен.
Как розы под собой не видит ясень мощный,
У ног своих жены еще не чуял он.

*

Пока Вооз дремал, совсем неподалеку
Моавитянка Руфь легла, открывши грудь,
И сладко маялась, и не могла уснуть,
И с тайным трепетом ждала лучей востока.

Вооз не знал, что Руфь у ног его легла,
А Руфь не ведала, какой послужит цели.
Отрадно и свежо дышали асфodelи;
По призрачным холмам текла ночная мгла.

И ночь была — как ночь таинственного брака;
Летящих ангелов в ней узнавался след:
Казалось иногда — голубоватый свет,
Похожий на крыло, выскальзывал из мрака.

Дыханье спящего сливалось в темноте
С журчаньем родников, глухим, едва заметным.
Царила тишина. То было ранним летом,
И лилии цвели на каждой высоте.

Он спал. Она ждала и грезила. По склонам
Порою звякали бубенчики скота;
С небес великая сходила доброта;
В такое время львы спускаются к затонам.

И спал далекий Ур, и спал Еримадеф;
Сверкали искры звезд, а полумесяц нежный
И тонкий пламенел на пажити безбрежной.
И, в неподвижности бессонной замерев,

Моавитянка Руфь об этом вечном диве
На миг задумалась: какой небесный жнец
Работал здесь, устал и бросил под конец
Блестящий этот серп на этой звездной ниве?

ГИДРА*

Когда отважный Хиль, что сыном Санчи был,
Скитальцем прозванный, объехавший полмира,
Достиг краев, где был властителем Рамиро, —
Копье он вдруг занес, забрало опустил:
Он гидру увидал. В траве она дремала,
Ужасная на вид — таких чудовищ мало!
«Я здесь!» — промолвил он и меч свой обнажил.
«С кем собираешься помериться ты силой? —
Свиваясь кольцами, стоголавая спросила. —
Кого ты ищешь, Хиль, свою оставив мать?
Меня иль короля — тирана и вампира?» —
«Ищу чудовище». — «Ну, так спешь к Рамиро!»
И гидра улеглась, чтоб снова задремать.

РАБОТА ПЛЕННЫХ

Бог рек царю: «Я твой господь. Мне нужен храм».

Так в синих небесах, где звезды льнут к звездам,
Бог говорил (то жрец по крайней мере слышал).
И царь призвал рабов и к ним с вопросом вышел:
«Найдется ли средь вас, кто б мог постронть храм?» —
«Нет», — был ответ. «Тогда я смерти вас предаю.
Бог гневается; он желает жить во храме.
Он властен над царем, царь властен над рабами.
Все справедливо».

Тут он сотню их казнил.
И раб один вскричал: «Царь, ты нас убедил.
Вели, чтоб где-нибудь нам дали гору. Роем
В нее мы вроемся. И храм в горе построим.
«В пещере?» — царь спросил. «О всемогущий царь,
Бог не откажется такой признать алтарь;
Ужель помыслить мог ты хоть на миг единый,
Что бога оскорбит алтарь в пещере львиной?» —
«Работай», — молвила царь.

Раб гору отыскал,
Крутую, дикую, по имени Галгал:
И стали пленники ее долбить, своими
Звенья цепями; раб, товарищ их, над ними
Начальствовал: всегда во мраке рабства тот,
С кем власть беседует, других рабов гнетет.

Они работали, врезаясь в грудь Галгала.
Вот кончили, и раб сказал: «Пора настала,
Веление небес исполнено, о царь;
Но молим: сонзволь взглянуть на наш алтарь»;

Он создан для тебя сперва, потом — для бога». —
«Согласен», — царь сказал. «Мы долг свой помним

строго, —

Сказал покорный раб, простершись на камнях. —
Мы обожать должны твоих сандалий прах.
Твое величие когда пойдет?» — «Тотчас же». —
И раб согнувшийся и властелин, без стражи,
Вошли в разубранный шелками паланкин.
В горе колодезь был, и камень-исполин,
Канатом вздернутый, висел над мраком зева.
И властелин и раб во испортое чрево
Горы вошли вдвоем через колодезь тот —
Кирками выбитый единственный проход.

Спустились. Царь, во тьме оставшись беспросветной,
Сказал испуганно: «Так входят в кратер Этны,
В нору сивиллину*, что вечный мрак тант,
Или — еще верней — в безвыходный Анд;
Но к алтарю идти чрез черную берлогу...» —
«Вверх или вниз идя, всегда доходят к богу, —
Сказал, простершись, раб. — Во храм прекрасный твой
Добро пожаловать, владыка дорогой;
Ты — царь царей земных; средь гордых и великих
Ты — точно мощный кедр среди смоковниц диких,
Ты блещешь между них, как Патмос меж Спорад»*. —
«Что там за шум вверху?» — «То заревел канат:
Мои товарищи там опускают камень». —
«Но как же выйдем мы?» — «Владыка, авеадный

пламень —

Опора стоп твоих, и молнии страшит
Твой меч, и на земле твой светлый лик горит,
Как солнце в небесах; ты — царь царей; тебе ли,
Величью ль твоему страшиться?» — «Неужели
Нет выходов других?» — «О царь! Ведь сто дорог,

Лишь только пожелай, тебе проложит бог». —
И царь вдруг закричал: «Нет более ни света,
Ни звука. Всюду мрак и тишь. Откуда это?
Зачем спустилась ночь в храм этот, как в подвал?» —
«Затем, что здесь твоя могила», — раб сказал.

РЕКИ И ПОЭТЫ

Волиу свергает Рейн и рушит Ниагара.
А пропасть страшная, их неспавидя яро,
Моглаой хочет быть, кричит: «Я их пожру!»
Река — что лев в лесу, свалившийся в пору.
Где гидра с тысячею аменных жал ютится,
Бьет лапами, хвостом, рычит, кусает, злится;
Но скалы вечную устойчивость хранят.
Пусть на дыбы встает, не хочет падать в ад,
Плюется и кипит и, мрамора узорней,
Цепляется река за камни и за корин, —
Нельзя ей одолеть закона всех времен,
И крутится она, как вечный Иксмон*.
Велением небес безумствуя и мучась,
Река жестокою испытывает участь;
Ей пропасть гибелью грозит, но алой утес
Не в силах дать ей смерть; он вызвал лишь хаос.
Чудовищная идея объятия раскрыла,
Рычит — и пасть ее угрюма, как могла.
То — зависть, черный гнев, глухое забытье.
Всеразрушение — вот замысел ее.
Как дым Безумия, клубясь почным туманом,
Большое облако встает над этим чаном,
Скрывая бешенство обманутой реки.
Как вышло, что она зацемялена в тиски?
Что сделала она в лесах, у льдов истока,
Среди долин, чтоб пасть так шумно и глубоко?
Ее могущество, величье, доброта —
Все рушится; она коварством в плен взята;
Она надувается, как мех, где ветры злятся,
И голоса ее от ужаса дробятся.
Все здесь падение, крушение, гибель, тьма
И хохот, как у тех, кто вдруг сошел с ума.

Ничто не выплыло, нет ничему спасенья;
И, напрягая грудь в шальном круговращенье,
Река, устав лететь все ниже по камням,
Предсмертный рокот шлет к далеким небесам.
Тогда над хаосом, столпившимся в нияние,
Встает, — рожденная всем тем, что есть в пучине
От мрака, ужаса, что душит и гнетет, —
Сквозная радуга, сверканье высот.

Коварна бездна, тверд утес, волна лукава,
Но ты от бурных вод берешь рождение, Слава!

Песни улиц и лесов

1865

ПОСЛЕ БОЯ*

Мой доблестный отец, чей взор так кроток был,
Однажды с вестовым, которого любил
За храбрость дерзкую и рост его огромный,
По полю проезжал верхом, порою темной,
Меж трупами бойцов. Уже померкнул день.
Вдруг шорох слышится... Там, где сгустилась тень,
Испанец полз, солдат на армии разбитой,
Тащившийся с трудом и кровью весь залитый.
Хрипя в агонии и не надеясь жить,
Он тихо умолял: «Пить! Ради бога, пить!»
Отец, обернувшись к гусару-вестовому,
Со своего седла снимает фляжку рому
И говорит: «Возьми! Пускай напьется он!»
И вот, когда гусар, услышав новый стон,
Нагнулся, — раненый, похожий на араба,
Хватает пистолет рукой худой и слабой
И целит в лоб отцу, «Каррамба!» процелив.
И выстрел прогремел, мгновенно шляпу сбив.
Отпрянул конь назад, как будто от удара.
«Дай все ж ему глотнуть!» — сказал отец гусару.





ГОЛОС ФЛОРЕАЛЯ*

О друзья, победа с нами!
Рано, лишь забрезжил день,
Составляю я стихами
Самый свежий бюллетень.

Гору сделаю ступенью,
Чтобы песнь была слышна.
Забросала всех сиренью
Победившая весна.

Тufельки надела Жанна,
Не боится стужи злой.
Голубой, благоуханный,
Ходит ветер надо мной.

Птиц, ягнят полна долина,
Я же, дерзкий, с высоты
Шлю зиме бегущей в спину
Залп за залпами цветы!

* * *

Когда все вишни мы досели,
Она насупилась в углу.
— Я предпочла бы карамели.
Как надоел мне твой Сен-Клу! *

Еще бы — жажда! Пару ягод
Как тут не съесть? Но погляди:
Я, верно, не отмою за год
Ни рта, ни пальцев! Уходи!

Под колотушки и угрозы
Я слушал эту дребедень.
Июнь! Июль! Лучи и розы!
Поет лазурь, и молкнет тень,

Прелестную смиряя буку,
Сквозь град попреков и острот
Я ей обтер цветами руку
И поцелуем — алый рот.

HILARITAS

(Веселье)

Давайте петь! Со страстью жгучей,
С огнем, хоть черта поминвай!
Ведь песня — как стакан кипучий,
Где «черт возьми» плеснет за край!

Блажен, кто, преданный веселью,
Под сенью виноградных лоз
Свой ревматизм прикрыл фланелью,
А в мудрость смех веселый внес.

Смех — это крылья в час падения;
Они поддержат наш полет.
Философ, полный синсхожденья,
Веселых добрыми зовет.

Катон, ты строгого был права*,
Но шуткой был и ты сражен.
О Генрихе Четвертом слава*
Гремит, что был веселым он.

Так станем же весельчаками,
Счастливым заключим союз.
Веселье ж нам сверкнет зубами:
«И укусило б, да смеюсь!»

* * *

Вот дети стайкой белокурой
Читают вслух, склады твердят,
На них ворчит учитель хмурый
И не глядит из класса в сад,

Хоть приоткрыта дверь. К дубраве
Я прохожу окрай болот,
Туда, где в трепете и славе
Разбуженный апрель встает.

Поет о вечном хор согласный:
Ликует дрозд, гремит ручей.
Цветы сотворены из ясной
И чистой красоты лучей.

По букварю, всех книг чудесней,
И я учить склады готов:
Барвинок в поле — стих из песни,
Орел под небом — пенье стрóf.

Но вот загадка: всюду пятна;
Где лилия, там и репей —
Дуриной, колючий. Непонятна
Их близость разуму людей.

Пока свистел скворец, гляжу я,
Чирок трудился — и не зря:
Он в клюве держит, торжествуя,
Трепещущего пескаря.

А тот пескарь, поживы ради,
Следил сейчас за пауком,

Который, прядая по глади,
Заглядывал в подводный дом.

Лай... Выстрел огласил поляну...
Пришел охотник! Я душой,
Я сердцем ощущаю рану!
Где мирный, сладостный покой?

В тоске бреду по бездорожью
И в сотый раз гадаю и:
Откуда зло? Ошибка божья,
Описка в книге бытия?

ПОЛУДЕННЫЙ СОН ЛЬВА

Лев спит, полуденным могучим
Сраженный сном. Жарой томим,
Он спит один под солнцем жгучим,
Нависшим тягостно над ним.

Безмерные пустыни слышат:
Хозяин их домой пришел.
Колышутся они и дышат.
Лев страшен, шаг его тяжел.

Бока дышанье выблет мерно,
Густым туманом взор повит.
Он, грозный, на земле пещерной
Величественно возлежит.

Все существо его почило.
Покой и мир — в его чертах,
В когтях — спокойствие и сила,
Раздумье мудрое — в бровях.

Полдневный зной, ручей ленивый.
Лев целиком во власти сна.
На лес его похожа грива.
Как погреб, пасть его темна.

Он видит диких скал вершины,
Ущелья Оссы, Пелион*
Мередаются ему сквозь львиный
Огромный, беспредельный сон.

Предгорье тишиной обьито,
Где он в песках бродил с утра.
Он лапой шевельнул мохнатой,
И разлетелась мошкара.

Грозный год

1872





ВЕЧЕРОМ, НА КРЕПОСТНОЙ СТЕНЕ ПАРИЖА *

Черным-чернел восток, но светел был закат.
Казалось мне — рука костяная, сухая,
На траурных столбах простерла пышный плат,
Два белых савана по небу развешая.

Так надвигалась ночь и все брала в полон.
И птицы плакали, и листья трепетали.
Я шел. Потом опять выглянул на небосклон —
Он был полоскою окровавленной стали.

И мне почудилось: окончен страшный бой.
Какой-то светлый бог сражался против змея,
И меч небесных сил, грозящий, роковой,
На землю тяжело пал — и вот лежит, алая.

ФОРТЫ

Как свора верных псов, наш город сторожат
Могучие форты: ведь мог же гнусный гад
Порою доползая до самых стен Парижа!
Хитер опасный враг; его орда все ближе.
Их девятнадцать здесь, на кручах, на холмах;
Тревожно ждут они, врагу внушая страх,
И, чтоб не удались коварные затеи,
Всю ночь вытягивая бронзовые шеи,
Бессонно стерегут людей, обвешанных сном,
И в легких бронзовых хлопочет смертный гром.
По временам холмы внезапно в тьму густую
Бросают молнии — одну, потом другую.
И снова ночь, — но вот почуяли они
Угрозу в тишине, в покое — западни.
Напрасно кружит враг — он лишь теряет время;
Они же — бдительны и сдержат вражье племя
Орудий, рысущих вдали, сквозь плотный мрак.
Париж — могильный склеп, темница, бивуак,
Средь мира темного безмерно одинокий,
Стоит, как часовой, покуда сон глубокий
Его не свалит с ног. Покой объемлет всех —
Мужчин, детей и жен. Стихают плач и смех,
Стихают площади, мосты, колеса, топот
И сотни сотен крыш, откуда сонный шепот
Исходит — голоса надежды, что твердит
О вере, голода, который говорит
О смерти. Смолкло все. О, сны! О, души спящих!
Тишь, забытые... Но их не усыпить, грозящих.
И вот внезапно ты очнулся... Страх и дрожь...
Прислушался едва дыша — и узнаешь
Густой, глубокий гул, как будто стонут горы;
Селенья вдрогнули, внимают мрачный город,

И вот на первый гром отвечает второй —
Безжалостный в своей угрюмости, глухой,
И новые во тьме раскаты возникают,
И громы тяжкие друг друга окликают.
Форты! В густых зыбях полночной темноты
Отчетливы для них зловещие черты:
Они заметили орудий очертанья,
Заметили в лесу, чье мертвое молчанье
Нарушил птиц ночных встревоженный полет,
Передвижение чужих полков и рот,
Огни в кустарниках — как волчьи злые очи...

Вы славно лаете, форты, во мраке ночи!

НОЧЬ В БРЮССЕЛЕ*

К невзгодам будничным привыкнуть должен я.
Вот, например, вчера пришли убить меня.
А все из-за моих нелепейших расчетов
На право и закон! Несчастных идиотов
Толпа в глухой ночи на мой напала дом.
Деревья дрогнули, стоявшие кругом,
А люди — хоть бы что. Мы стали подниматься
Наверх с большим трудом. Как было не бояться
За Жанну? * Сильный жар в тот вечер был у ней.
Четыре женщины, я, двое малышей —
Той грозной крепости мы были гарнизоном.
Никто не приходил на помощь осажденным.
Полиция была, конечно, далеко;
Бандитам — как в лесу, вольготно и легко.
Вот черепок летит, порезал руку Жанне.
«Эй, лестницу! Бревно! Живей, мы их достанем!»
В ужасном грохоте наш потерялся крик.
Два парня ринулись: они в единый миг
Притащат балку им из ближнего квартала.
Но занимался день, и это их смущало.
То затихают вдруг, то бросятся опять,
А балки вовремя не удалось достать!
«Убийца!» Это — мне. «Тебя повесить надо!»
Не меньше двух часов они вели осаду.
Утихла Жанна: взяла ее за ручку брат.
Как звери дикие, опять они рычат.
Я женщин утешал, молившихся от страха,
И ждал, что с кирпичом, запущенным с размаха
В мое окно, влетит «виват» хулиганья
Во славу цезаря, изгнавшего меня*.
С полсотни человек под окнами моими
Куражились, мое выкрикивая имя:

«На виселицу! Смерть ему! Долой! Долой!»
Порою умолкала свирепый этот вой:
Дальнейшее они решали меж собою.
Молчанья, злобою дышавшего тупого,
Минуты краткие стремительно текли,
И пенье соловья мне слышалось вдали.

Вот пленницу ведут*. Она в кроне. Она
 Едва скрывает боль. И как она бледна!
 Ей шлют проклятья вслед. Она, как на закланье,
 Идет сквозь ненависть дорогою страданья.
 Что сделала она? Спросите крики, тьму
 И яростный Париж, задохшийся в дыму.
 Но кто она? Как знать... Ее уста так немые!
 Что для людей — вина, что для ума — проблема.
 Мученья голода? Соблазн? Советчик злой,
 Внушивший ей любовь и сделавший рабой?
 Достаточно, чтоб пасть душе простой и темной...
 Без умолку твердят — и случай вероломный,
 И загнанный инстинкт, влечений темных ад,
 Отчаянье души, толкнувшее в разврат, —
 Все то, что вызвано жестокою войною
 В столице, где народ задавлен нищетою.
 «Одни имеют все, а у тебя что есть?»
 Лохмотья на плечах! Тебе ведь надо есть!» —
 Вот корень страшный зла. Кто хлеба даст

несчастливым?

Не много надобно, чтоб стал бедняк «опасным»!
 И вот сквозь гнев толпы идти ей довелось.
 Когда ликует месть, когда бушует злость,
 Что окружает нас? Победы алоба волчья,
 Ликующий Версаль*. Она проходит молча.
 Смеются встречные. Бегут мальчишки вслед.
 И всюду ненависть, как тьма, что гасит свет.
 Молчанье горькое ей плотно сжало губы;
 Ее уж оскорбить не может окрик грубый;
 Уж нет ей радости и в солнечных лучах;
 В ее глазах горит какой-то дикий страх.
 А дамы из аллей зеленых, полных света,

С цветами в волосах, в весенних туалетах,
 Повиснув на руках любовников своих,
 Блестя камнями колечек дорогих,
 Кричат язвительно: «Попалась?.. Будет хуже!» —
 И пестрым зонтиком с отделкою из кружев,
 Прелестны и свежи, с улыбкой палачей,
 В алорадной ярости терзают рану ей.
 О, как мне жаль ее! Как мерзки мне их лица!
 Так нам отвратны псы над загнанной волчицей!

* * *

За баррикадами, на улице пустой,
Омытой кровью жертв, и грешной и святой,
Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний.
«Ты тоже коммунар?» — «Да, сударь, не последний!» —
«Что ж! — капитан решил. — Конеч для всех —
расстрел.

Жди, очередь дойдет!» И мальчуган смотрел
На вспышки выстрелов, на смерть борцов и братьев.
Внезапно он сказал, отваги не утратив:
«Позвольте матери часы мне отнести!» —
«Сбежишь?» — «Нет, возвращусь!» — «Ага, как
ни верти,

Ты трусил, сорванец! Где дом твой?» — «У фонтана».
И возвратиться он поклялся капитану.
«Ну живо, черт с тобой! Уловка не тонка!» —
Расхохотался завод над бегством паренька.
С хрипением гибнущих смешался смех победный,
Но смех умолк, когда внезапно мальчик бледный
Предстал им, гордости суровой не тая,
Сам подошел к стене и крикнул: «Вот и я!»

И устыдилась смерть, и был отпущен пленный.

Дитя! Пусть ураган, бушуя во вселенной,
Смешал добро со злом, с героем подлеца, —
Что двинуло тебя сражаться до конца?
Невинная душа была душой прекрасной.
Два шага сделал ты над бездною ужасной:
Шаг к матери один и на расстрел — второй.
Был взрослый пострашен, а мальчик был герой.
К ответственности звать тебя никто не вправе.
Но утренним лучам, ребяческой забаве,

Всей жизни будущей, свободе и весне —
Ты предпочел прийти к друзьям и встать к стене.
И слава вечная тебя поцеловала.
В античной Греции поклонники, бывало,
На меди резали героев имена,
И прославляли их земные племена.
Парижский сорванец, и ты из той породы!
И там, где синие под солнцем блещут воды,
Ты мог бы отдохнуть у каменных вершин.
И дева юная, свой опустив кувшин
И мощных буйволов забыв у водооя,
Смущенно издали следила б за тобою.

ВО МРАКЕ

Старый мир

Волна! Не надо! Прочь! Назад! Остановись!
Ты никогда еще так не взлетала ввысь!
Но почему же ты угрюма и жестока?
Но почему кричит и вост пасть потока?
Откуда ливень брызг, и мрак, и грозный гул?
Зачем твой ураган во все рога подул?
Валы вадываются и движутся, как чудо...
Стой! — я велю тебе! Не дальше, чем досюда!
Все старое — закон, столбы границ, узда,
Весь мрак невежества, вся дикая нужда,
Вся каторга души, вся глубь ее кручины,
Покорность женщины и власть над ней мужчины,
Пир, недоступный тем, кто голоден и гол,
Тьма суеверия, божественный глагол, —
Не трогай этого, не смей сдвигать святыни!
Молчи! Я выстроила надежные твердыни
Вкруг человечества, прочна моя стена!
Но ты еще рычишь? Еще растешь, волна?
Кипит водоворот, немилосердно воя.
Вот старый часослов, вот право вековое,
Вот эшафот в твоей пучине промелькнул...
Не трогай короля! Уны, он утонул!
Не оскорбляй святых, не подступай к ним близко!
Стой — это судия! Стой — это сам епископ!
Сам бог велит тебе — прочь, осадь назад!..
Как! Ты не слушаешь? Твои валы грозят
Уничтоженьем — мне, моей ограде мирной?

Волна

Ты думал, я прилив, — а я потоп всемирный!

Искусство быть дедом

1877





ЖАННА ВСТУПАЕТ В МИР *

Я Жанну слушаю: ребенку непонятны
Большие, взрослые слова, и в необъятный
Веселый мир цветов, полей и птичьих гнезд.
До моря, до небес, до самых дальних звезд
Летит бессмысленный, такой серьезный лепет,
Какие полусны младенцу душу лепят!
Что значит каждая улыбка, каждый вздох?
Как старый дедущка, на внучку смотрит бог.

Я был непримирим. Во дни лихих годин
 На многих деспотов я шел войной один;
 Я бился с полчищем содомской гнусной рати*;
 Валу морских глубин, валу людских проклятий
 Рычали на меня, но я не уступал,
 И видел под собой я не один провал;
 Я объявлял войну бурлящему прибою
 И преклонял главу пред силой роковой
 Не больше, чем скала под натиском волны;
 Я не из тех, кому предчувствия страшны,
 Кто, полны ужаса пред смертью беспощадной,
 Боятся глянуть в пасть пещеры непроглядной;
 Когда в меня бросал презрительный тиран
 Гром гнева черного и молнии таран,
 И я метал свой стих в аловещих проходимцев,
 Я королей клеймил и подлых их любимцев.
 Ложь всех религий, всех идеологий ложь,
 Трон императора и эшафота нож,
 И меч наемника, и скиптр самодержавья —
 Все это делал я добычею бесславья,
 И каждый великан — будь то король иль князь —
 Мною не единожды ниспровергался в грязь!
 Со всем, чему кадят, пред чем склоняют выи,
 Со всеми, кто в миру вершит судьбы мирские,
 Я дрался сорок лет, с опасностью шутя!
 И кто же, кто теперь меня сразил? — Дети!

ОТКРЫТЫЕ ОКНА

УТРО. СКВОЗЬ ДРЕМУ

Голоса... Голоса... Свет сквозь веки... Гудит в переулке
 На соборе Петра затрезвоивший колокол гулкий.
 Крик веселых купальщиков: «Здесь?» — «Да не медли,
 живей!»
 Щебетание птиц, щебетание Жанны моей.
 Оклик Жоржа. И вскрик петуха во дворе. И по
 крыше —
 Раздражающий скреб. Конский топот — то громче, то
 тише.
 Свист косы. Подстригают газон у меня под окном.
 Стуки. Грохот тяжелых шагов по железу, как гром.
 Шум портовый. Шипенье машин паровых. Визг
 лебедки.
 Музыка полковая. Рывками. Сквозь музыку — четкий
 Шаг солдат. Голоса. Два француза*. Смеющийся бас:
 «Добрый день!» Я заспался, как видно. Который же
 час?
 Красношейка моя заливается. На наковальне
 Молотков перебранка из кухни доносится дальней.
 Плеск воды. Пароход на ходу задыхается, споря
 С необъятною гладью, с могучим дыханием моря.

¹ Победжденный победитель (лат.).

РАЗБИТАЯ ВАЗА

О небо! Мой Китай в осколках на полу!
Мерцанье озера сквозь лиственную мглу
Не уподоблю я волшебной этой вазе —
С плодами, с птицами восторженных фантазий.
На солнце знойным днем она была луной
И, точно изнутри молочной белизной,
Лучилась, тонкая, таинственно чужая,
Фарфор таиную душой преображая.
Марьетта* в комнате решила пыль стереть, —
Ах, как она каялась быть осторожней впредь! —
Небрежный замаз — и пол усеян черепками,
Ни сладких грез тебе, ни пастбища с быками!
На набережной я купил ее* и в дом
Принес торжественно. Детей собрав потом,
Стал объяснять: «Вот ик, а вот четверорукый
Макак или гиббон, а это жрец науки,
Или осел. «И-а!» — кричит он за юань.
А это мандарин, по-местному «гуань».
Должно быть, знающий, смотри, какой пузатый!
Не бойтесь! Это тигр, разбойник полосатый.
В своей пещере он, сова в своем дупле,
А это духи тьмы в потусторонней мгле.
У императора гора сокровищ разных...»
Детей забавит мир чудовищ безобразных.
Я вазой дорожил — и нет ее теперь.
В нелепой ярости распахиваю дверь.
«Кто смел ее разбить?» — набрасываюсь бранно,
Марьетта в ужасе, а маленькая Жанна
Ваглянула вверх, сама от страха не своя,
И с видом ангельским лепечет: «Это я».

ПРОГРЕСС

Вперед, в великий путь, народы,
За тесный свой предел и грань!
Личинка, чудом стань природы;
О стадо, легионом стань.
Орел, спеши навстречу свету.
Лишь совы, верные запрету,
Свет не принимают заревой.
Угадан в солнце бог от века;
Луч вяжет душу человека,
Как нить, с божественной душой.

К нам луч слетает с небосвода;
С ним свет и разум к нам сойдут;
Он пламя там, он здесь свобода,
Архангел там, апостол тут!
Творец Горация и Данта,
Он полагает лист аканта
И хаос, где плывем в ладье;
Блеск придает он изумрудный
И перышку колибри чудной,
И гада скользкой чешуе.

Стези держитесь оваренной,
Держитесь солнечных путей.
Чтоб сеять, собирать бессонно,
Вперед, вперед, вперед смелей!
Вчерашний раб, сойдя с понтона,
Развратник, выйдя из притона, —
Смелей вперед — и к нысям гор!
На них избираться — ваше право.
Пусть возвеличит вас и слава
И вами поправленный позор!

Моря переплывая, киньте
 Былое в пену; фитилем
 В фонарь пеньку веревки вдвиньте
 От виселицы, сданной в лом.
 О человек, иди к вершине,
 Грозой всех чудищ стань отныне,
 Стань новым Аполлоном ты.
 Меч правый чист. Рази, бесстрашен:
 Ведь кровью гидры ты украшен*,
 Пятнающей твои пяты.

Четыре веяния духа

1881





ОПОРА, ИМПЕРИЯ

Раз существует мир, то с ним считаться надо.
Давайте ж говорить о людях без досады.
Вот это — наших дней мещанский идеал.
Когда-то мыло он и сало продавал,
Теперь же у него сады, луга, дубравы.
К народу он жесток. Дворянство он по праву
Не любит, будучи привратника сыном
И род Монморанси* считая пустяком.
Строг, добродетелей, он член неваженимый
(С коврами под ногой, когда приходят вимы)
Великой партии порядка*. Кто умен
И кто влюбляется, тех ненавидит он.
Немного филантроп и ростовщик немного,
«Свобода, — он кричит, — права людей, дорога
Прогресса светлая? Не надо мне их, пои!»
Да, здрав, и прост, и груб, как Санчо Панса, он,
Сервантес же пускай кончины ждет в больнице*.
Он любит Буало*, не прочь обнять девицу,
Развлечется с горничной и, смяв передник ей,
Кричать: «Безнравственны романы наших дней!»
Он мессу слушает всегда по воскресеньям.
В сафьяне дорогом и с золотым тисненем
Под мышкой у него Голгофа* и Христос.
«Не то чтоб этому я верил бы всерьез, —
Твердит он, — но затем ихожу я в храма двери,

Чтоб сброд уверовал, увидев, что я верю;
Чтоб одурманен был голодный и глупец.
Какой-то боженька ведь нужен наконец».
Дорогу! Входит он. На месте самом видном
Церковный староста с животиком солидным;
Сидит он, гордый тем, что все уладить смог:
Народ на поводке и под опекой бог.

ХОРОШЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ

(Сонет в альбом)

Мы пишем им сонет, и недурной подчас,
К небрежно поданной руке их припадаем,
Ведem их в лес гулять и в храм сопровождаем,
Охотно делаясь Клитандрами* на час.

Бал — это их триумф. Мы с них не сводим глаз,
Мы в танце их ведem, им рабски угождаем,
Под звуки музыки смеемся и болтаем,
И нежным щебетом они дурманят нас:

— Решает сила спор; война — святое дело;
Побольше виселиц! Безволие надоело!
Париж волнуется; стреляйте, и конец!

Не надо новых школ, а тюрем нужно вдвое! —
И с видом горлинок наговорят такое,
Что встал бы в ужасе из гроба и мертвец.

Порой наш высший долг — раздуть, как пламя, зло;
Пусть мрачный свет падет тирану на чело.
И вот «Возмездий» том *. Увы! Так было надо.
Я, для которого всегда была отрада
В прекрасном, в чистоте, я нехотя на месть
Призвал гармонию. Ушла в изгнание честь,
И я почувствовал, что долг — над преступленьем
Зажечь возмездие карающим виденьем, —
И, как звезда во мгле, вот этот том возник.
Мне тяжело злобствовать. Но если бунтовщик
Прервал движение великого народа,
Чтоб умертвить его и стать кумиром сброда,
Пускай рассеется сгустившаяся мгла!
И вот приподнял я ужасный саван зла,
И книгу гневную пронзил лучами света,
И, нарушая мрак, венчал его кометой.

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Едва заря с небес багровый свет прольет,
Приоткрывая дверь навстречу дню седому
(Как нянька старая, что раньше всех встает
И с лампою в руке впотьмах идет по дому),

Едва на тростники безмолвный ляжет луч
И заводь соиную сквозь ветви обесцветит,
Едва небесный взор забрезжит из-за туч,
И взор земли ответит,

Едва в тумане я предгорья рассмотрю, —
Спешу уйти в поля, ищу места поглуше:
Я разузнать хочу, где отыскать зарю
Для ночи, чья тоска томит людские души?

Чем дышит человек? Зачем он на земле?
Что мы увидим там, за гранью неземною?
Природа, правда ли, что в зыбкой этой мгле
Ты говоришь со мною?

Из опубликованного посмертно

ПЕСЕНКА

Шутить, веселиться — не слишком ли поздно?
Валяни, маргаритка: земля холодна.
В полях будет снежно, в предгорьях морозно...
— И снег я улыбкой встретить должна.

Шутить, веселиться — не слишком ли поздно,
Звезда моя? Солнце не встанет со дна
Предательской ночи, сомкнувшейся грозно...
— И ночь я улыбкой встретить должна.

Шутить, веселиться — не слишком ли поздно,
Душа моя? В гибельной тьме ты одна
Расправила крылья, смеешься бесславно...
— И смерть я улыбкой встретить должна.





★ ★ ★

Смотрело чуднище, кося тигриным глазом,
Как приближался враг, и ударяя разом
Хвостом и лапами, с проворностью змеи
Блеснуло роговой броней чешуи
И снова разлеглось на непомерном брюхе.
Кружили истребы вверху, роясь, как мухи
Над дождевым червем, и если, скажем, лев
Варевел бы рядом с ним, внезапно осмелев,
Вы этот рык принять за музыку могли бы:
Казалось, мрак ночной боится этой глыбы!
Кипящей лавою из пасти яд стекал,
Сметенные хвостом лежали груды скал.
Обрубками стволов щетинились чащобы,
В пылающих зрачках зияли жерла злобы.
Герой в ответ:

«Дрожи, исчезай темноты!
Я видел ящерид и не таких, как ты!»

* * *

Как ветхий патриарх, в часы глухих раздумий
Всю ночь я не смыкал отяжелевших век;
Я выбирал холмы повыше, поугрюмей,
Куда не забредет случайный человек.

Сидел на камне я и слушал голос злобный
Кружащих в небе птиц, цветков дрожал у ног,
Роняло дерево сквозь тучи плач надгробный,
И трепетал рассвет, бессильно одинок.

А вечером из тьмы, из непроглядной выси
По склонам призраки бесшумные ползли,
И я смотрел, застыв на бесприютном мысе,
Как море темное вздымается вдали.

Сквозь ели видел я зловещее блужданье
Испуганной луны и тени на горах
И спрашивал себя: не так ли мирозданье
Под взором вечности таит смертельный страх?

К ГЕРНСЕЮ

Все в этих скалах есть: пленительность, и мрачность,
Обрывы, небеса, глубоких бездн прозрачность,
Гул волн, что иногда звучит как гимн святой,
Терпение — нести безмерность над собой;
Душа пред далью вод, не скованных границей,
Расправив два крыла, взлетает гордой птицей.

* * *

Случалось ли в лесу бродить вам одному
И хохот услышать, и ринуться во тьму,
С истекшего лба холодный пот стирая?
Случалось ли на миг вам замереть у края
Души, дарящей жизнь нездешним существам?
Случалось ли хоть раз задумываться вам
О мироздании, в чьих сумрачных провалах
Гнездятся скопище чудовищ небывалых?

* * *

Ваш удел — вдохновение, собратья-поэты.
Вы поете, авеня,
И сопутствуют вам зоревые расцветы
До последнего дня!

Увлекает поэзия вас на высоты
И за грани времен;
Юность — это Платон, собирающий соты*,
Старость — Анакреон!*

Так летайте, порхайте, поэты благие —
Вам пристало оно;
Распевайте погромче свои неземные
Песни радости... Но

Если вам хоть крылом доведется коснуться
Хаотических бурь,
Где и смерть, и беда, и размах революций,
То забудьте лазурь.

Позабудьте любовь, позабудьте мечтанья
И отдайте сердца
Беззаветным стремленьям, людскому страданью
И борьбе до конца.

Человеческий род за шесть тысячелетий
Поднял к небу чело
И воспрянул на бой, чтоб низвергнуть на свете
Вековечное зло.

Кто с великой семьей мятежников спаян,
Кто познал скорбь и гнев,
Не малиновкой в небе зальется пускай он —
Пусть рычит словно лев.

* * *

Ты честен. Сколько ты стерпел неправоты,
Прямой, как истина, которой служишь ты.
Так не сгибайся же! Для злобных стань мишенью!
Когда оракулы вещают к устрaшенью
Разъевшихся рабов и Цезаря уже
Причислили к богам, в открытом мيتهже
Величье духа есть, в великодушье — сила.
Ты ищешь бед, тебя страданье воскресило.
И о спасенье мысль бесстрашному чужда.
В душе у праведных всегда горит звезда
Высокой совести — мы испытаньям рады!
Для непреклонных нет ничтожнее преграды,
Чем скорбь или вражда, — напрасно гром гремел:
Могучий счастливы дуб, что устоять сумел!

КУЗНЕЦЫ

Взгляни, вон кузница, и там — два силача
В багровых отсветах пылающего горна.
Как искры сыплются! Не плюют ли сплеча
Два демона звезду на наковальне черной?

Над чем же трудятся два мрачных кузнеца?
То гордый ли клинок иль скромный лемех плуга?
Прислушивается к их молоту округа:
Он пробуждает дух и веселит сердца.

Куют ли меч они или куют орало,
Железо мирное иль боевую сталь, —
Они работают! Над ними солнце встало,
Раскинулась вокруг сияющая даль.

* * *

Люблю твой светлый взор и мужественный вид! *
Твой загорелый лоб простым платком обвит,
Твой смех летит до небосвода.
Ты Братству нежною сестрой могла бы стать,
Невеста, Равенству крестьянскому под стать,
Моя крылатая Свобода!

* * *

У правды нет границ, и человек любой
Зовется Человеком.
Я ощущаю груз тиранства над собой,
Придавлен рабским веком.

Я с каждым узником в темницу заключен, —
Мятеж дворцы сметает! —
Народ, который сам никем не угнетен,
Других не угнетает.

* * *

Во мраке тень мелькнет, и Некто незнакомый
Начнет играть душой, к ночным огням влекомой,
Душой усталого поэта, чей порыв —
Эдипом * новым стать, бесстрашию приоткрыв
Покров Добра и Зла, Любви и Преподней.
Непостижимый сфинкс, он замыслил господни,
Тайные, смешал с клавиатурой строк:
То гимном прогремит, величествен и строг,
То улыбается, регистрами владея
Хмельного дактиля, державного спондея *,
Когтистой лапою сжимая хрупкий стих.
Но тот пред высотой невиданной затих:
Один, лицом к лицу с неотвратимым роком
Поэт в отчаянье бонится стать пророком.

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Жизнь Виктора Гюго тесно связана с политической историей Франции XIX века.

Виктор-Мари Гюго родился в 1802 году. Брак его родителей спустя несколько лет распался по причинам не только личного, но и политического характера: отец будущего поэта был офицером (позднее генералом) наполеоновской армии, верным слугой императора, а мать происходила из ванзейских дворян, сторонников «легитимной монархии», и была связана с заговорщиками, конспирировавшими против Наполеона I.

Юность поэта пришлась на годы Реставрации Бурбонов (1815—1830). Воспитанный матерью, он вплоть до середины 20-х годов исповедовал консервативные политические взгляды, и первые его стихи проникнуты духом монархизма, враждебности к Великой французской революции и к «узурпатору» Бонапарту. Юный Гюго писал оды на торжественные события в жизни королевского семейства (коронацию, рождение наследника престола и т. д.), получал от короля пенсии, был принят им лично.

Перемены в убеждениях Гюго начались во второй половине 20-х годов — первоначально в литературно-эстетической сфере, когда он стал сторонником, а вскоре и признанным вождем романтического направления во французской литературе. В те же годы внимание поэта привлекла освободительная война греков против

турецкого господства, вызвавшая горячий отклик во всей Европе. Романтический образ современной Греции еще до этого был создан в восточных поэмах Байрона, который после начала войны отправился на помощь греческим патриотам и умер в осажденном турками городе Миссолонги. Поэзией Байрона отчасти вдохновлена стихотворная книга Гюго «Восточные мотивы», ставшая поэтическим манифестом французского романтизма; составившие ее произведения посвящены Греции и странам Ближнего Востока.

В последние годы Реставрации и в период Июльской монархии (1830—1848) Гюго из политического консерватора превращается в либерала. Примирившись с отцом, он в своих новых стихах с восхищением отзываясь о Наполеоне I (см., например, в настоящем сборнике стихотворение «Бунаберды»), выступает в поддержку освободительных движений в различных странах, ратует за отмену во Франции смертной казни. В 1832 году спектакль по его пьесе «Король забавляется» подвергся запрету за непочтительное изображение королевской власти. В стихах Гюго 30—40-х годов появляется тема страданий народа, протест против нищеты, в которой живут трудящиеся современной Франции. Вместе с тем в 40-е годы Гюго, далекий от революционного и демократического движения, постепенно примиряется с буржуазной монархией Луи-Филиппа, получает от нее официальное признание — он стал членом Французской академии, пэром Франции. Такой альянс поэта с властью явился, несомненно, одной из главных причин творческого кризиса, постигшего его в середине 40-х годов (другой, личной причиной была гибель его любимой дочери Леопольдины, утонувшей в реке в 1843 году). На несколько лет Гюго почти полностью прекращает активную творческую деятельность.

Новый толчок его духовному развитию дала революция 1848 года, свергнувшая монархию Луи-Филиппа. Эта революция окончательно излечила Гюго от монархизма, заставила его безоговорочно принять идею республики. Начиная с 1849 года Гюго, избранный депутатом парламента, борется в рядах республиканской партии, резко выступает против усиливающегося политического влияния

племянника Наполеона I — принца Луи-Наполеона Бонапарта, избранного президентом Второй республики. Когда же в декабре 1851 года принц-президент совершил государственный переворот, а год спустя провозгласил себя императором Наполеоном III, Гюго становится одним из самых непримиримых его противников. Эмигрировав из страны, он опубликовал за границей памфлет «Наполеон Малый» (1852), в котором яростно — хотя и во многом декларативно, без глубокого политического и социального анализа — обличал нового правителя Франции. Изобличению Наполеона III посвящен и вышедший годом позже сборник политических сатир «Карающие песни» (другой перевод — «Возмездие»).

Все годы Второй империи (1852—1870) Гюго жил на принадлежащих Англии островах Джерси и Гернси (Гернсей) близ французского побережья; он демонстративно отказывался вернуться на родину даже после объявленной императором амнистии. Однако еще важнее, чем оппозиционные политические заявления Гюго (не свободные от пошлости и тщеславия), было его возвращение к литературному творчеству. В период изгнания созданы многие знаменитейшие произведения Гюго: крупные поэтические книги «Созерцания» и «Песни улиц и лесов», первый том эпической «Легенды веков», романы «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который смеется», теоретический трактат «Вильям Шекспир» и другие.

Начавшаяся летом 1870 года франко-прусская война быстро привела к катастрофическому поражению французской армии и к крушению Второй империи. Сразу после провозглашения новой, Третьей республики Гюго возвратился на родину и провел в Париже тяжелые месяцы прусской осады. В марте 1871 года, после перемирия с пруссаками, он выехал по семейным делам из Парижа, где незадолго до того восставшие рабочие провозгласили Коммуну. Весть о кровавом разгроме Коммуны в мае 1871 года застала его в Бельгии. Несмотря на свое неодобрительное отношение к повстанцам и особенно к их вождям, Гюго решительно выступил против жестокой расправы над ними и объявил в печати, что его дом в Брюсселе открыт для коммунаров, спасающихся от репрессий. Приглашением

Гюго никто не воспользовался, но его заявление не осталось незамеченным: дом поэта пытались разгромить, а его самого бельгийское правительство вскоре выслало из страны. О нападении на свой дом Гюго рассказал в стихотворении «Ночь в Брюсселе», которое вошло в сборник «Грозный год», посвященный трагическим событиям войны и Парижской коммуны.

В последние годы жизни Гюго, будучи сенатором Третьей республики, настойчиво выступал за либерализацию государственной политики, и прежде всего — за амнистию осужденным коммунарам, отправленным на каторгу и в ссылку; эти усилия увенчались успехом лишь в 1880 году. В романе «Девяносто третий год» (1874) Гюго окончательно пересматривает свои юношеские взгляды на Великую французскую революцию и, признавая мужество защитников монархии, все же отдает свои симпатии прежде всего героям-республиканцам, утверждает их историческую и нравственную правоту. При всем искреннем демократизме Гюго, его политическая позиция в конце жизни оставалась двойственной: как «живой классик», авторитетнейший писатель своего времени, он своим авторитетом освящал буржуазно-республиканский режим, что вызывало к нему враждебность со стороны социалистов, добивавшихся глубоких общественных преобразований в интересах пролетариата.

Умер Виктор Гюго в 1885 году. Ему были устроены грандиозные национальные похороны как крупнейшему деятелю французской культуры, занявшему почетное место в ее пантеоне.

Стр. 23. *История*. Эпиграф — из «Энеиды» Вергилия (книга VI, стих 626).

Стр. 25. *Невеста литавщика. Депорт*. Филипп (1546—1606) — французский поэт.

Капитан в средневековом значении слова — полководец, командир.

Храмовники (тамплиеры, рыцари Храма) — рыцарский орден, существовавший в XII—XIV веках.

Стр. 29. *Турнир короля Иоанна*. Имеется в виду французский король Иоанн II Добрый (1319—1364, правил с 1350). Источник эпиграфа не установлен.

Кармелиты — монашеский орден, созданный в XIII веке.

Матерь божья — здесь имеется в виду знаменитый собор Парижской богоматери.

Стр. 41. *Канарис*. *Канарис*, Константинос (1790—1877) — герой освободительной войны греков против турок в 1821—1829 годах; один из руководителей греческого флота, он особенно прославился своими действиями на брандерах — маленьких судах, нагруженных порохом и горючим и поджигавших целые эскадры турок.

А пушки сорваны с лафетов и скользят... — Много лет спустя Гюго вновь изобразил эту картину в романе «Девяносто третий год» (часть первая, главы IV—V).

Стр. 45. *Лунный свет*. Эпиграф — из «Энеиды» (книга II, стих 255). У Вергилия этот образ также имеет зловещий смысл: «под защитой луны молчаливой» данайцы скрытно идут на последний штурм Трои.

То тяжкие мешки, где слезы, где слова... — Таким способом турецкие султаны топили в море провинившихся жен и прислужниц гарема.

Стр. 46. *Купальщица Зара*. Эпиграф — из стихотворения «Дриада» (1815) французского романтика Альфреда де Вийи (1797—1863).

Стр. 52. *Джинны*. Эпиграф — из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь V, стихи 46—49).

Стр. 57. *Бунберды*. В стихотворении разрабатывается распространенный в поэзии романтиков сюжет о призрак Наполеона (ср. в русской поэзии переводные баллады «Ночной смотр» Жуковского, «Воздушный корабль» Лермонтова, стихотворение Пушкина «Недвижный страж дремал на царственном пороге...»). Гюго придает этому сюжету восточную окраску, имея в виду египетскую экспедицию генерала Бонапарта (1798—1799); отсюда искаженные, «араб-

ские» имена и названия — «Бунаберды» вместо «Бонапарт», «Фиренгистан» вместо «Франция».

Стр. 58. Но я б р ъ. Саади (между 1203 и 1210—1292) — персидский поэт и мыслитель, чье творчество вызывало большой интерес у европейских романтиков.

...вся в пламени Гоморра... — По библейскому преданию, город Гоморра был поражен небесным огнем за грехи его жителей (Книга Бытия, глава XIX).

...огромен город наш, а клефту тесно в нем... — Клефты (буквально — воры) — во время турецкого господства в Греции — греки, бежавшие в горы и ведшие вооруженную борьбу против завоевателей, давших им это презрительное прозвище.

...как фельянтинские колокола звучали... — В 1809—1811 и в 1812—1813 годах маленький Виктор Гюго жил с матерью и братьями в парижском монастыре фельянтинок.

...как жили мы в Мадриде... — Это было в 1811—1812 годах, когда генерал Гюго, отец поэта, служил во французской военной администрации в Испании.

Стр. 63. Что слышится в горах. Эпиграф — из послания апостола Павла к римлянам (XI, 33). В русском тексте Библии это место звучит иначе: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия!»

Сион — древняя цитадель Иерусалима, где находился Иерусалимский храм.

...как ярый лев при виде Даниила... — По библейской легенде, пророк Даниил, брошенный на растерзание львам, чудесным образом усмирил их (Книга пророка Даниила, глава VI).

Стр. 66. «Однажды Атласу, завистливо-ревнивы...» Эпиграф — из «Сатир» древнеримского поэта Ювенала (сатира X, стих 169).

Атлас (Атлант) — в греческой мифологии гигант, держащий на своих плечах небесный свод. Ныне это имя носит горный массив на северо-западе Африки, в Марокко.

Стр. 67. «О письма юности...» Эпиграф (первая стро-

ка) — из поэмы итальянского поэта Б. Гварини (1533—1612) «Верный пастух» (песнь III); вторая строка, очевидно, сочинена самим Гюго.

Стр. 69. «Когда вокруг меня все спит, сижу часами...» Эпиграф — из «Размышлений» римского императора и философа Марка Аврелия (121—180 н. э.), книга IV, глава 22.

Стр. 70. Бездны мечты. Эпиграф, по-видимому, сочинен самим Гюго и приписан им английскому хронисту XIII века Гервазию Тильберийскому.

...все, будто в камере-обскуре, отражалось... — Камера-обскура — прибор в виде ящика, в передней стенке которого имеется небольшое отверстие; проходящие через отверстие лучи света от какого-либо предмета дают на противоположной стенке камеры-обскуры обратное изображение предмета.

...черты трехъярусного Рима... — Возможно, имеются в виду три эпохи истории Рима, отразившиеся в архитектурных памятниках города: республика, империя и папство. По другому объяснению, Гюго намекает здесь на мысль французского философа и писателя П.-С. Балланша (1776—1847) о трех эпохах цивилизации в Италии (племенное общество до основания Рима, римская государственность, христианство).

Карфаген и Тир — древние финикийские города-государства на берегах Средиземного моря (первый — близ современного Туниса, второй — на месте современного города Сур в Ливане).

Фивы (Стовратные Фивы) — столица Древнего Египта.

Этруск Эвандра. — Этруски — древний народ, населявший Италию; Эвандр, согласно «Энеиде», — древний царь Лациума (область, где ныне находится Рим).

Орфеевы пеласги. — Орфей — легендарный греческий поэт, которого Гюго связывает с народом пеласгов, населявшим Грецию до возникновения древнегреческой цивилизации.

Ирмин (Ирменсул) — языческое божество древнегерманского племени саксов.

На лестницах крутых колосса-Вавилона. — Имеется в виду ле-

гендарная Вавилонская башня, которая должна была достать до неба и на строительство которой сошлись все народы земли (Книга Бытия, глава XI).

Стр. 77. Прелюдия. ...и слуги дьявола, и слуги Егова... — Егова (или Иегова) — неправильная, но бытовавшая в литературе вплоть до XIX века транскрипция имени древнееврейского бога Яхве (или Ягве) из Ветхого завета.

Стр. 81. «О ты, Анакреон!» Анакреон (ок. 570—487 гг. до н. э.) — греческий поэт, родоначальник легкой любовной лирики в европейской поэзии.

Стр. 85. Альбрехт Дюреру. Романтики рассматривали немецкого живописца и графика Альбрехта Дюрера (1471—1528) как своего предтечу, особо выделяя в его творчестве фантастические, философско-мистические мотивы.

Стр. 91. Не бойся. Авторское название — «Tentanda via est» — цитата из «Георгик» Вергилия (книга III, стих 8).

Дает Мильтону рай, ад завещает Данту... — то есть «дает» для художественного изображения. Подразумеваются поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», а также наиболее знаменитая первая часть «Божественной комедии» Данте — «Ад».

Франциск — французский король Франциск I (1494—1547, правил с 1515), много лет с переменным успехом воевавший за господство над Италией.

Гершель, Уильям (1738—1822) — знаменитый английский астроном, открывший планету Уран и несколько спутников планет.

Стр. 96. Гитара. В названии этого и следующего стихотворения слово «гитара», для современников Гюго окрашенное испанским национальным колоритом, употребляется в необычном смысле, означая «песня».

К египтянке повел бы он триеры... — Имеется в виду египетская царица Клеопатра (69—30 до н. э.), которая была возлюбленной римского императора Гая Юлия Цезаря; однако герой стихотворения, судя по всему, путает Цезаря (в оригинале еще и именую его германским императором) с римским полководцем Марком Антони-

ем (ок. 80—30 до н. э.), который позднее также был любовником Клеопатры и прославился своей безрассудной страстью к ней.

Триера, или, правильнее, трирема, — военное судно с тремя ярусами весел у древних римлян (триера — у греков).

Стр. 99. Другая гитара. Стихотворение написано в фольклорной форме — как переключка двух частей хора, мужской (они) и женской (оне).

Стр. 102. Грусть Олимпио. Имя Олимпио носит лирический герой нескольких стихотворений Гюго 30-х годов. О необходимости создать себе такой поэтический «псевдоним» Гюго писал так: «...горизонт человека постоянно расширяется, и в жизни его наступает такой час, когда он чувствует себя слишком мелким, чтобы говорить и дальше от своего имени. Тогда, как мыслитель и поэт, он создает образ, в котором олицетворяет и воплощает себя, — это все еще «человек», но уже не «я». Сюжет данного стихотворения навеян переживаниями от многолетней любви Гюго к актрисе Жюльетте Друэ (1806—1883), с которой он познакомился в 1833 году.

Стр. 109. Оссапох. Название стихотворения — цитата из «Энеиды» (книга II, стих 250).

Стр. 113. Убитым 4 декабря. 2 декабря 1851 года президент Луи-Наполеон Бонапарт распустил Законодательное собрание и тем самым фактически уничтожил республику. Депутаты-республиканцы, в числе которых был и Гюго, призвали народ к оружию и пытались организовать сопротивление на улицах Парижа, но к 4 декабря оно было подавлено войсками. Количество убитых, по некоторым сведениям, достигало двух тысяч человек.

Быть может, Тюильри разрушить вы хотели. // Быть может — Ватикан... — то есть выступали против Луи-Наполеона (провозгласив себя императором, он обосновался во дворце Тюильри), поддерживаемого католической церковью (Ватиканом).

Империя — покой. — Саркастически цитируется пропагандистский лозунг «Империя — это мир», провозглашенный Луи-Наполеоном в 1852 году, когда он готовился объявить себя императором

и сулил французской буржуазии обезопасить ее от революционных «смут».

Стр. 115. Воспоминание о ночи 4 декабря. См. комментарий к предыдущему стихотворению. Гюго лично был свидетелем описываемого здесь эпизода.

Сен-Клу — замок близ Парижа, загородная резиденция Наполеона I, а затем и Наполеона III.

Стр. 117. «Кто борется — живёт...» По нраву им Марат и по душе Тиберий — то есть равно приемлем и революционный террор, и имперская тирания.

Юпитера презреть и Янус отмест — то есть не верить ни в языческого, ни в христианского бога, не иметь ничего святого.

Стр. 119. Полина Ролан. Героиня стихотворения (1804—1852) была ученицей известного французского социалиста-утописта Пьера Леру, подругой писательницы Жорж Санд. В феврале 1852 года ее арестовали за помощь семьям осужденных республиканцев, десять месяцев продержали в тюрьмах Франции и Алжира и возвратили на родину уже смертельно больной.

Спаситель общества, и церкви, и порядка — саркастическое обозначение Наполеона III.

Желчь с губки — евангельский мотив: распятому на кресте и изнемогавшему от жажды Христу с издевкой тыкали в лицо губкой, пропитанной горькой желчью.

Ламбесса — каторжная тюрьма в Алжире, куда после переворота 2 декабря 1851 года отправляли осужденных французских республиканцев.

Рибейроль, Шарль де (1812—1861) — республиканский журналист, выпустивший в эмиграции в Лондоне книгу «Каторжные тюрьмы Африки» (1853); в ней, в частности, рассказывается и о судьбе Полины Ролан.

Сократ ведь и Христос — терпели... — Гюго объединяет эти два имени как имена мучеников за свои убеждения: Сократ был осужден на смерть афинскими властями за свое якобы безразличное учение, в казни же Христа поэт также видит не столько

мистическую смерть-воскресение божества, сколько подвиг человека, отдавшего жизнь за идеалы человечности.

Декабрьский властелин — имеется в виду вновь Наполеон III.

Стр. 124. «Гремите ночь и день, о трубы мысли гневной!» В стихотворении пересказывается эпизод из ветхозаветной Книги Иисуса Навина (глава VI о взятии иудеями города Иерихона (отсюда выражение «иерихонские трубы»).

Ароновы сыны — иудей (по имени первосвященника Аарона).

Стр. 128. Надпись на томе «Божественной комедии» Данте. В стихотворении отражено восточное представление о метемпсихозе (переселении душ), которым живо интересовались многие европейские романтики.

Стр. 131. На дюне. ...под хищным клювом аквилона... — Аквилон — северный ветер.

Стр. 133. *Где Святому Марку к изголовью...* — Эмблемой апостола Марка считается крылатый лев; что же касается упоминаемого здесь же ветхозаветного пророка Амоса, то в приписываемой ему книге такой образ отсутствует. Для Гюго крылатый лев — символ двойного таланта, которым наделен поэт: он способен возноситься ввысь и сражаться с врагами.

Стр. 143. Совесть. Сюжет стихотворения — вольная фантазия поэта на тему о судьбе библейского персонажа Каина — убийцы своего брата. Встречающиеся в тексте имена взяты из Ветхого завета, сам же рассказ о скитаниях Каина в Библии отсутствует.

Стр. 146. С п я щ и й В о о з. Источник сюжета — библейская Книга Руфи (глава III). В Библии отсутствует важнейший для стихотворения Гюго мотив вешего сна Вооза.

И некий царь вешал внизу под сенью древа, / И некий бог вверху в мученьях умирал. — Согласно Книге Руфи, дальним потомком от брака Вооза и Руфи был царь Давид, который считается царем-песнопевцем — автором псалмов. В свою очередь, евангелия, продолжая эту легендарную генеалогию, объявляют потомком царя Давида погибшего на кресте Иисуса Христа.

Стр. 150. Г и д р а. Имена, встречающиеся в тексте, отсылают

к испанскому героическому эпосу; сюжет фрагмента, очевидно, принадлежит самому Гюго.

Стр. 151. Работа пленных. ...в нору сивиллину... — В древнеримских преданиях сивилла — прорицательница, жившая вдали от людей, в пещере.

...как Патмос меж Спорад. — Греческий остров Патмос (входит в группу Южные Спорады) знаменит главным образом тем, что именно там, по преданию, Иоанн Богослов имел свое видение конца света и Страшного суда, изложенное в Апокалипсисе. Упоминанием Патмоса поэт, по-видимому, исподволь вводит в текст тему возмездия, которая затем все более нарастает.

Стр. 154. Реки и поэты. Иксион — герой греческого мифа, осужденный богами вечно вращаться в Тартаре, привязанный к пылающему колесу.

Стр. 156. После боя. В основе сюжета — очевидно, рассказ отца поэта, генерала Гюго, о войне, которую вели наполеоновские войска за господство над Испанией в 1808—1813 годах.

Стр. 159. Голос флореля. *Флорель* — по революционному календарю, действовавшему в годы Великой французской революции, месяц, соответствующий последней декаде апреля и двум первым декадам мая.

Стр. 160. «Когда все вишни мы доели...» «Как надоела мне твой Сен-Клу!» — здесь имеется в виду большой парк около замка Сен-Клу, открытый для публичного посещения.

Стр. 161. *Hilaritas*. Катон, ты строгого был нрава... — Имеется в виду, скорее всего, Катон Старший (около 234 — около 149 до н. э.), римский политический деятель, ревностный защитник старинных норм морали, получивший прозвище «Цензор».

О Генрихе Четвертом слава//Гремит, что был веселым он. — Король Генрих IV (1553—1610, правил с 1589) традиционно полагается во Франции репутацией доброго и веселого монарха, человека простого и чуждого ханжества.

Стр. 164. Полуденный сон льва. *Осса, Пелион* —

горы в северной Греции; согласно мифу, мятежные гиганты взгромождали их друг на друга, пытаясь взобраться на Олимп.

Стр. 167. Вечером, на крепостной стене Парижа. Это и следующие стихотворения написаны во время осады Парижа прусскими войсками, продолжавшейся с сентября 1870 по январь 1871 года.

Стр. 170. Ночь в Брюсселе. Описанные события разыгрались в ночь на 28 мая 1871 года; см. о них выше, в биографическом очерке.

Жанна — внучка Виктора Гюго, родившаяся в 1869 году; в марте 1871 года она лишилась отца и вместе с матерью и братом Жоржем (он был старше ее на год) оказалась на попечении деда.

В славу цезаря, изгнавшего меня. — Подразумевается Наполеон III, уже свергнутый с трона в сентябре 1870 года. Гюго хочет сказать, что участники нападения на его дом продолжают дело низложенного тирана.

Стр. 172. «Вот пленницу ведут...» Это и следующие стихотворения описывают разгром Парижской коммуны в конце мая 1871 года.

Версаль — городок близ Парижа, весной 1871 года база и штаб-квартира контрреволюции (версальцев), боровшейся против восставшего Парижа.

Стр. 179. Жанна вступает в мир. В этом и других стихотворениях из сборника «Искусство быть дедом» речь идет о внуках Виктора Гюго — Жорже и Жанне (см. комментарий к стихотворению «Ночь в Брюсселе»).

Стр. 180. *Victor sed victus*. В названии обыгрывается латинское значение имени поэта Виктор — победитель.

...содомской гнусной рати... — Содом в христианской традиции — символ греха.

Стр. 181. Открытые окна. Голоса. Два француза. — Французская речь потому специально отмечена поэтом, что стихотворение написано на английском острове Гернси (Гернсей) в 1870 или 1873 году.

Стр. 182. Разбитая ваза. *Марьетта* — служанка в семье Гюго.

На набережной я купил ее... — На парижских набережных издавна торгуют букинисты и антиквары.

Стр. 183. Прогресс. *Ведь кровью гидры ты украшен...* — Имеется в виду один из подвигов Геракла — уничтожение Лернейской гидры.

Стр. 187. Опора империй. *Монморанси* — один из старейших знатных родов Франции, известный с XII века.

Партия порядка — союз правых сил в годы Второй республики, поддерживавший приход к власти Луи-Наполеона Бонапарта. Гюго употребляет это выражение в расширительном смысле, обозначая им консерваторов вообще.

Сервантес же пускай кончины ждет в больнице. — Автор «Дон Кихота» действительно прожил всю жизнь на грани бедности.

Он любит Буало... — Имя поэта и критика, теоретика классицизма Никола Буало-Депрео (1636—1711) во Франции XIX века служило символом классической традиции в литературе; почтение к нему воспринималось как знак консервативного художественного вкуса, а вместе с тем и политической благонадежности.

Голгофа — место казни Христа.

Стр. 189. Хорошенькие женщины. *Клитандр* — традиционное имя влюбленного в старинной французской комедии.

Стр. 190. «Порой наш высший долг...» — *И вот «Возмездий» том* — название этой книги Гюго в данном издании переводится как «Карающие песни».

Стр. 195. «Смотрело чудище...» Сюжет — по-видимому, греческий миф о битве Геракла с гидрой.

Стр. 199. «Ваш удел — вдохновенье, собратья поэты...» *Юность* — это Платон, собирающий соты... — Гюго, вероятно, имеет в виду священное значение, которое древние греки приписывали пчелам, рассматривая их как божественные существа.

Стр. 202. «Люблю твой светлый взор...» — В стихотворении «материализован» девиз Французской республики: «свобода, равенство, братство».

Стр. 204. «Во мраке тень мелькнет...» *Эдип* — герой греческого мифа, разгадавший загадку чудовища-сфинкса; у Гюго — символ пылкости, стремления раскрыть тайны бытия.

Хмельного дактиля, державного спондея... — Спондей — в ямбе и хорее — утяжеленная стопа из двух ударных слогов.

С. Зенкин

СОДЕРЖАНИЕ

С. Зенкин. Поэзия Виктора Гюго	5
--	---

ОДЫ И БАЛЛАДЫ. 1826

История. Перевод П. Антокольского	23
Невеста литавщика. Перевод В. Дмитриева	25
Турнир короля Иоанна. Перевод П. Антокольского	29

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ. 1829

Канарис. Перевод Вс. Рождественского	41
Лунный свет. Перевод Вс. Рождественского	45
Купальщица Зара. Перевод Е. Полонской	46
Прощание аравитянки. Перевод Анны Ахматовой	50
Джинны. Перевод Г. Шенгели	52
Бунаберды. Перевод Г. Шенгели	57
Ноябрь. Перевод В. Портнова	58

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ. 1831

Что слышится в горах. Перевод В. Левика	63
«Однажды Атласу, завистливо-ревнивы...» Перевод Э. Линецкой	66
«О письма юности, любви живой волненье!..» Перевод И. Грушецкой	67
«Когда вокруг меня все спит, сижу часами...» Перевод Э. Линецкой	69
Бездны мечты. Перевод Д. Бродского	70

ПЕСНИ СУМЕРЕК. 1835

Прелюдия. Перевод В. Давиденковой	77
«О ты, Анакреон...» Перевод И. Грушецкой	81
«О, если нас зовет в луга цветущий май...» Перевод Т. Щепкиной-Куперник	82

ВНУТРЕННИЕ ГОЛОСА. 1837

Альбрехту Дюреру. Перевод Бенедикта Лившица	85
* Корова. Перевод Р. Дубровкина	87
Ночью, когда был слышен шум невидимого моря. Перевод В. Дмитриева	89
Не бойся. Перевод В. Бенедиктова	91

ЛУЧИ И ТЕНИ. 1840

«Как в дремлющих прудах, среди лесной глуши...» Перевод Е. Полонской	95
* Гитара. Перевод Р. Дубровкина	96
Другая гитара. Перевод А. Мей	99
Встреча. Перевод В. Бузаевского	100
Грусть Олимпо. Перевод Н. Зиминой	102
Осапо пох. Перевод В. Брюсова	109

КАРАЮЩИЕ ПЕСНИ. 1853

Убитым 4 декабря. Перевод В. Дмитриева	113
Воспоминание о ночи 4 декабря. Перевод Е. Полонской	115
«Кто борется — живет...» Перевод В. Орла	117
Полина Ролан. Перевод Г. Шенгели	119
Народу. Перевод Г. Шенгели	123
«Гремите ночь и день, о трубы мысли гневной!..» Перевод Г. Шенгели	124

СОЗЕРЦАНИЯ. 1856

«Поэту надлежит...» Перевод А. Курошевой	127
Надпись на томе «Божественной комедии» Данте. Перевод Э. Линецкой	128
? Перевод Э. Линецкой	129
«Живешь, беседуешь...» Перевод М. Кулинова	130

На дюне. Перевод А. Курошевой	131
* Ibo. Перевод Р. Дубровкина	133
Единство. Перевод Е. Полонской	138
* Когда просветлеет. Перевод Р. Дубровкина	139

ЛЕГЕНДА ВЕКОВ. 1859—1883

Совесть. Перевод Г. Шенгели	143
Спящий Вооз. Перевод Н. Рыковой	146
Гидра. Перевод В. Дмитриева	150
Работа пленных. Перевод Г. Шенгели	151
Реки и поэты. Перевод Вс. Рождественского	154
После боя. Перевод А. Энцельке	156

ПЕСНИ УЛИЦ И ЛЕСОВ. 1865

Голос флореаля. Перевод В. Давиденковой	159
«Когда все вишни мы доели...» Перевод Бенедикта Лившица	160
Hilaritas. Перевод В. Давиденковой	161
«Вот дети стайкой белокурой...» Перевод Н. Вольпин	162
Полуденный сон льва. Перевод А. Гатова	164

ГРОЗНЫЙ ГОД. 1872

Вечером, на крепостной стене Парижа. Перевод Н. Рыковой	167
Форты. Перевод Н. Рыковой	168
Ночь в Брюсселе. Перевод Н. Рыковой	170
«Вот пленницу ведут...» Перевод Вс. Рождественского	172
«За баррикадами, на улице пустой...» Перевод П. Антокольского	174
Во мраке. Перевод П. Антокольского	176

ИСКУССТВО БЫТЬ ДЕДОМ. 1877

* Жанна вступает в мир. Перевод Р. Дубровкина	179
Victor sed victus. Перевод А. Арго	180
Открытые окна. Перевод А. Пеньковского	181
* Разбитая ваза. Перевод Р. Дубровкина	182
Прогресс. Перевод А. Курошевой	183

ЧЕТЫРЕ ВЕЯНИЯ ДУХА. 1881

Опора империй. Перевод В. Давиденковой	187
Хорошенькие женщины. Перевод В. Левика	189

«Порой наш высший долг...» Перевод В. Давиденковой	190
* Утренняя прогулка. Перевод Р. Дубровкина	191
* Песенка. Перевод Р. Дубровкина	192

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО ПОСМЕРТНО

* «Смотрело чудище...» Перевод Р. Дубровкина	195
* «Как ветхий патриарх...» Перевод Р. Дубровкина	196
К Герисею. Перевод В. Брюсова	197
* «Случалось ли в лесу бродить вам одному...» Перевод Р. Дубровкина	198
«Ваш удел — вдохновенье, собраты-поэты...» Перевод А. Арго	199
* «Ты честен...» Перевод Р. Дубровкина	200
Кузнецы. Перевод М. Донского	201
* «Люблю твой светлый взор и мужественный вид!..» Перевод Р. Дубровкина	202
* «У правды нет границ...» Перевод Р. Дубровкина	203
* «Во мраке тень мелькнет...» Перевод Р. Дубровкина	204
Комментарии	205

Литературно-художественное издание
Для среднего и старшего возраста

Гюго Виктор

Стихотворения

Ответственный редактор

А. С. Лазарь.

Художественный редактор

М. А. Трубейкой.

Технический редактор

Г. Г. Рыжкова.

Корректор

А. А. Лазарева.

ИБ № 10933

Сдано в набор 21.07.89. Подписано к печати 20.02.90.
Формат 70×100¹/₁₆. Бум. офс. № 1. Шрифт академический.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 18,85.
Уч.-изд. л. 7,43. Тираж 100 000 экз. Заказ № 567. Цена
1 р. 10 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы
народов издательство «Детская литература» Государствен-
ного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 103720, Москва, Центр. М. Черкас-
ский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Государственно-
го комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.

Гюго В.

Г 99 Стихотворения/Пер. с фр.; Сост., предисл. и
коммент. С. Зенкина; Оформл. А. Акатьева. —
М.: Дет. лит., 1990. — 223 с.: ил.

ISBN 5—08—000991—8

Избранные стихи великого французского поэта, драматурга и романиста
революционно-романтического направления, писателя огромного обществен-
ного темперамента, страстного гуманиста и поборника справедливости.

Г 4804010200—232
M101(03)-90 Без объявл.

ББК 84.4 Фр.